ЛЛОЙД ДЖОНС

мистер пип



Мистер Пип
Ллойд Джонс

Аннотация
Ллойд Джонс. Мистер Пип
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~

~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
Благодарности
~~~

Аннотация

Впервые на русском — всемирный бестселлер новозеландского писателя Ллойда Джонса, вошедший в шорт-лист Букеровской премии, переведенный на десятки языков и экранизированный Эндрю Адамсоном (постановщиком «Шреков» и фильмов о Нарнии), причем главную роль исполнил сам «доктор Хаус» — Хью Лори; фильм выходит на экраны в 2012 году.

Крошечная деревушка на тропическом острове на юге Тихого океана. Все белые улетели в Австралию, с другого конца острова приближается война, школа три месяца как закрыта. И вдруг живущий отшельником мистер Уоттс — единственный оставшийся в деревне белый человек и никогда прежде не замеченный в склонности к учительству — возобновляет школьные занятия. Дети, говорит он, я познакомлю вас с мистером Диккенсом. Тринадцатилетняя Матильда и ее друзья готовят для неожиданного визитера список срочных поручений — починить генератор, привезти аспирин и таблетки от

малярии… Но мистер Уоттс говорил о совсем другом знакомстве: он будет читать им роман «Большие надежды». А во время войны сила воображения — опасное оружие…

Ллойд Джонс
Мистер Пип

Посвящается моей семье
Персонажи мигрируют[1].

Умберто Эко

[1] Примечания: 1

Цитата из эссе Умберто Эко «О некоторых функциях литературы» (2008). — *Здесь и далее примечания переводчика.*

~~~



Все называли его Лупоглаз. Даже в ту пору, когда я была тощей тринадцатилетней девчонкой, мне приходило на ум, что он, скорее всего, об этом знает — и бровью не ведет. Он с интересом смотрел вдаль, а нас, босоногую мелюзгу, попросту не замечал.

При взгляде на него казалось, будто он когда-то видел или познал великие страдания и не смог их забыть. На большом лице таращились большие круглые глаза, будто хотели вырваться из орбит. Прямо как недотепы, застрявшие в дверях.

Изо дня в день Лупоглаз носил один и тот же белый льняной костюм. От влажной жары брючины липли к острым коленям. Случалось, он нацеплял клоунский нос. У него и свой-то нос был
~~~

здоровенный, даже без этой красной лампочки. Но по какой-то причине, нам неведомой, в определенные дни он надевал этот красный нос — надо думать, не просто так. Улыбку его никто никогда не видел. А когда у него на лице торчал клоунский нос, каждый встречный поневоле отводил взгляд — зрелище было невыразимо жалкое.

При этом он тащил за собой тележку, в которой стояла его жена. Ни дать ни взять, ледяная королева. На острове почти у всех женщин волосы вились мелкими кудряшками, а Грейс давным-давно свои распрямила. Она собирала волосы на темечке, и получалась корона. Женушка Лупоглаза так и лучилась гордостью, даром что всю жизнь сверкала голыми пятками. При виде ее необъятного зада можно было только пожалеть стульчак. В голову лезли всякие мысли о ее матери: как она такую выродила, ну и прочее.

Попугаи, которые в половине третьего пополудни хоронились в кронах деревьев, разглядывали человеческую тень, на треть длиннее обычной. На улице были только мистер и миссис Лупоглаз, а казалось — целая процессия.

Ребятишки привычно увязывались за ними следом. А наши родители отводили глаза. На муравьев, что ползают по гнилой азимине, и то

приятней было смотреть. Кое-кто, позабыв про зажатый в руке мачете, останавливался, чтобы проводить взглядом это шествие. Малышня видела только одно: белый человек везет чернокожую тетку. То же самое видели попугаи, то же самое видели собаки, что сидели на своих костлявых задницах, отмахиваясь лапами от назойливых москитов. А мы, ребята постарше, чуяли, что за этим кроется какая-то непростая история, обрывки которой иногда удавалось подслушать в разговорах взрослых. Миссис Уоттс — юродивая. Мистер Уоттс искупает старые грехи. А может, проспорил. Эта парочка немного смущала покой нашего островного мира, который испокон веков признавал только единообразие.

Миссис Лупоглаз держала над головой синий зонтик от солнца. Мы слыхали, что название ему — парасолька и что другого такого на всем острове не сыщешь. Нет, обыкновенные черные зонты были, конечно, не в диковинку, но вопросов мы не задавали и не пытались выяснить: чем же парасолька отличается от простого зонта? Не то чтобы мы боялись показаться тупыми — просто не хотели докапываться, чтобы не разрушить чудо. Одно название чего стоило: «парасолька», а задашь какой-нибудь дурацкий вопрос — и

чуда как не бывало. К тому же все давно усвоили: любопытных бьют, и поделом.

Детей у них не было. А может, были, но уже выросли и уехали жить за тридевять земель: в Америку, например, или в Австралию, или в Британию. У этой парочки были имена. Жену звали Грейс, и кожа у нее была черная, как у всех нас. Мужа звали Том Кристиан Уоттс, и кожа у него была белая, как белок глаза, прямо какая-то нездоровая.

На кладбищенских плитах возле церкви по сей день сохранились английские имена. Доктор, живший на другом конце острова, носил полное англосаксонское имя, хотя и был из наших. А Лупоглаза мы величали «мистер Уоттс», чтоб и у нас в округе было хотя бы одно важное имя.

Вдвоем с женой они занимали бывший миссионерский дом. С дороги его даже не было видно. Прежде, как рассказывала моя мать, вокруг дома зеленела лужайка, но после смерти проповедника миссия пришла в упадок, а газонокосилка заржавела. Вскоре дом обступили заросли, а к тому времени, когда я появилась на свет, мистер и миссис Лупоглаз и вовсе отгородились от мира. Их видели только в те дни, когда Лупоглаз вывозил жену на улицу. Ходил кругами, как старый

коняга вокруг колодца. У тележки были бамбуковые поручни. Миссис Лупоглаз за них держалась.

Для всякого лицедейства нужны зрители. Но миссис Лупоглаз даже не смотрела в нашу сторону. Мы того не стоили. Пустое место. А нам хоть бы что. Нас-то больше занимал мистер Уоттс.

Поскольку Лупоглаз был единственным белым на многие мили вокруг, малыши разглядывали его разинув рты, не замечая, что на их смуглые ручонки капает подтаявшее мороженое. Те, кто постарше, собравшись с духом, стучались к нему в дверь, чтобы задать несколько вопросов «для домашнего задания». Но когда дверь отворялась, некоторые застывали на месте и только таращились во все глаза. Правда, знала я одну девочку повзрослее, которую пригласили войти; не всем так везло. Она потом говорила, что в доме не повернуться от книжек. Эта девочка попросила его рассказать про свою жизнь. Лупоглаз усадил ее на стул, поставил перед ней стакан воды, и она, вооружившись карандашом, открыла тетрадку. Он сказал:

— Живу я, детка, очень долго. И надеюсь еще пожить.

Она это записала. На другой день показала тетрадь учительнице и удостоилась похвалы за

такое начинание. Потом эта девочка даже принесла показать свои записи нам с мамой, так что я о них знаю не понаслышке.

Мало того, что Лупоглаз был последним из белых, — в наших глазах он выглядел очень значительной фигурой: во-первых, его окутывала тайна, а во-вторых, он служил доказательством кое-каких важных истин.

Мы росли в убеждении, что белый цвет — это цвет самых главных вещей: мороженого, аспирина, ленточек, луны, звезд. Правда, в детстве моего дедушки белые звезды и полная луна были куда важнее, чем теперь, когда у нас есть генераторы.

Наши деды, впервые увидев белых, подумали, что это привидения или какие-то новоявленные мученики. А собаки поджали хвосты, разинули пасти и уселись на дороге в ожидании праздника. Может, эти белые люди умеют прыгать задом наперед или перемахивать через деревья. Может, у них скопились объедки. Собаки всегда на это надеются.

Первым белым, встретившимся моему деду, был потерпевший кораблекрушение яхтсмен, который попросил у него компас. Дед не знал, что это такое, а потому с уверенностью ответил, что компаса у него нет. Представляю, как он сцепил

за спиной руки и растянул рот в улыбке. Боялся, что будет глупо выглядеть. Вслед за тем белый попросил карту. Дед не мог взять в толк, о чем идет речь, и указал на израненные белые ноги. Хотел разобраться, почему акулы не ринулись на такую приманку. Тогда белый человек спросил, что это за место, где его выбросило на берег. Наконец-то дедушка смог быть полезным. Это остров, объяснил он. Белый поинтересовался, есть ли у острова название. Дед ответил ему словом, которое по-нашему как раз и означает «остров». А дальше белый осведомился, где находится ближайший магазин, — и тут дед не удержался от смеха. Он указал на кокосовую пальму и куда-то вдаль, через плечо чужака, в ту сторону, откуда его вынесло на песок: там простирался бескрайний океан, кишащий рыбой. Мне полюбилась эта история.

Кроме Лупоглаза, то бишь мистера Уоттса, и бригады шахтеров-австралийцев, я, считай, живьем и не видела белых. Зато в одном старом фильме видела. Однажды на уроке нам показали прибытие какого-то там герцога, заснятое давным-давно, году в тысяча девятьсот с чем-то. Камера уставилась герцогу в лицо и молчала. Герцог кушал. У герцога были усы, и у других

белых тоже. И герцог, и его свита явились в белых брюках. Мало того — еще и в пиджаках, застегнутых на все пуговицы. Сидеть на земле у них не получалось. Они заваливались вбок и опирались на локти. Мы, ребятня, умирали со смеху: белые дядьки пытались сидеть на земле, как в кресле. Их потчевали свиными ножками в банановых листьях. Один человек, в пробковом шлеме, что-то попросил. Мы сперва не поняли, чего он хочет, но вскоре ему принесли белую тряпочку, и он стал ею вытирать рот. Тут мы чуть животы не надорвали от хохота. А я все время высматривала на экране деда. Он, тогда еще тщедушный босоногий парнишка в белой майке, ходил маршем вместе с ровесниками. Под занавес они построили акробатическую пирамиду для развлечения белых господ, которые, не снимая пробковых шлемов, уминали свиные ножки. Мой дед стоял вторым сверху. Нашему классу задали написать сочинение по этому фильму. Но я не могла понять, какой тут интерес, и вместо этого написала про деда и про ту историю с потерпевшим кораблекрушение белым человеком, который распластался на песке, как морская звезда, неподалеку от дедушкиной деревни, где в ту пору не было ни электричества, ни водопровода, а

название Москва еще оставалось пустым звуком.

~~~

Те события, о которых я собираюсь поведать, произошли, как мне кажется, из-за нашего незнания внешнего мира. Моя мама знала лишь то, что упоминал в своих проповедях и беседах последний священник. Еще она выучила таблицу умножения и названия каких-то далеких столиц. Краем уха слышала, будто люди слетали на Луну, однако не спешила принимать это на веру. Бахвальства она терпеть не могла. И пуще всего не хотела, чтобы ее обвели вокруг пальца или выставили на осмеяние. Она никогда не покидала пределов Бугенвиля. Помню, когда мне исполнилось восемь, я решила узнать, сколько ей лет. Мама резко отвернулась, и я впервые в жизни поняла, что повергла ее в смущение.

Она ответила вопросом на вопрос: «А сама-то ты как думаешь?»

Когда мне было одиннадцать лет, моего папу увез с острова самолет горнорудной компании. А перед этим отца позвали в школу, где крутили фильмы о той стране, куда он собирался. В фильмах показывали, как правильно разливать
~~~

чай (сначала на дно чашки полагалось наливать молоко) и как есть кукурузные хлопья, которые поливались молоком сверху. Мама говорит, они с отцом из-за этого сцепились, как петухи.

Порой она мрачнела, и я догадывалась, что ей не дает покоя та давняя ссора. Мама отрывалась от домашних дел и говорила:

— Нужно было мне придержать язык. Слишком уж я распалилась. Как ты считаешь, дочка?

Она очень редко всерьез спрашивала мое мнение, а я после того раза, когда задала вопрос про ее возраст, всегда знала, что нужно сказать, чтобы она была довольна.

Мой отец просмотрел и другие фильмы. Он увидел легковые машины, грузовики, самолеты. Увидел автострады и пришел в восторг. Но потом ему продемонстрировали пешеходный переход. Оказалось, что все должны останавливаться, когда юнец в белом кителе замахивается палкой.

Этого папа стерпеть не мог. На бесчисленных дорогах с твердыми обочинами стояли такие же юнцы, забравшие себе власть указывать другим, куда им держать путь. Родители опять заспорили. Мама утверждала, что у нас — все то же самое. Тоже ведь нельзя идти куда вздумается. Забредешь не туда — будет тебе оплеуха. В Писании,

приговаривала она, про то и сказано. Всяк знает, что есть рай небесный, да не всяк туда придет.

Какое-то время мы бережно хранили почтовую открытку, присланную отцом из Таунсвиля. Вот что в ней говорилось. Покуда самолет не вошел в облака, отец смотрел вниз и впервые обозревал наши края. Будто посреди моря тянулись одни лишь горные хребты. Его поразило, что с воздуха наш остров казался величиной с коровью лепешку. Но маме это было неинтересно. Повстанцы закрыли рудник, где работали все мужчины. Маму заботило только одно: платят ли на чужбине деньги.

Еще через месяц пришла вторая открытка. Отец писал, что денег там — лопатой греби. Вопрос был решен. Мы засобирались к нему — а что еще было делать, если Френсис Она со своими повстанцами объявил войну медному руднику и горнорудной компании, после чего (по причине, которая в то время оставалась для меня загадкой) из Порт-Морсби к нам на остров нагрянули «краснокожие». В Порт-Морсби считается, что мы составляем единое государство. У нас считается, что мы другие — черные как ночь. А эти солдаты будто выползли из-под красной земли. Потому-то их и прозвали краснокожими.

Вести о войне доходят через «кажется» и «говорят». Молва — их нахлебница. Захочешь — поверишь ей, не захочешь — отмахнешься. Мы слышали, что к нам никого не впускают и отсюда не выпускают. Это не укладывалось в голове: мыслимо ли закрыть целую страну? Разве можно ее связать в тюк или закупорить? Никто не знал, чему верить, но с приходом краснокожих карателей мы поняли, что означает блокада.

Нас окружало море; вдоль побережья курсировали канонерские лодки краснокожих, а в воздухе кружили вертолеты. Ни радио, ни газет у нас не было, и мы терялись в догадках. Известия передавались из уст в уста. Краснокожие каратели вознамерились подчинить себе остров и задушить повстанческое движение. Такие ходили слухи. «Ну и пускай», — приговаривала моя мама. До такой степени нам было безразлично. Мы по-прежнему ловили рыбу. Держали кур. Собирали плоды. Что имели раньше, то при нас и осталось. А кроме того, как заявляли сторонники повстанцев-сепаратистов, у нас была собственная гордость.

Но однажды среди ночи свет погас навсегда. Топливо для генераторов закончилось. Ходили слухи, что повстанцы в Араве — это дальше по по-

бережью — ворвались в больницу и забрали все медикаменты. Наши матери не на шутку встревожились; очень скоро младенцев начала косить малярия, а помочь было нечем. Мы хоронили одного за другим и оттаскивали безутешных матерей от крошечных могильных холмиков.

Наши ребята теперь оставались дома. Помогали матерям на огородах. Собирались под высоченными пальмами, что взмывали на сотни футов вверх. Играли у полноводных ручьев, сбегавших по крутым горным склонам. Нашли два-три новых озерца, в которых плыли наши зыбкие, лукавые физиономии. Плескались в море, и под солнцем наша черная кожа делалась еще черней.

В школу мы не ходили с того дня, когда наши учителя последним катером уехали в Рабаул. Последний катер. От этих слов у нас вытягивались лица. Теперь убраться с острова можно было разве что пешком по водам.

На удивленье всем, Лупоглаз не воспользовался случаем уехать. Правда, миссис Уоттс была из местных, но он ведь мог и ее вывезти. Другие белые так и поступили. Забрали с собой жен и подруг. Речь идет, конечно, о работниках горнорудной компании.

Никто не знал, чем занимается Лупоглаз; насколько нам было известно, он не работал. И вообще почти не показывался на людях.

Наши хижины, числом около тридцати, неровной вереницей тянулись вдоль берега, уставившись на море. Окна и двери всегда были нараспашку, и любой мог свободно слушать разговоры соседей. Но разговоры Уоттсов оставались тайной за семью печатями, потому что бывший миссионерский дом стоял на отшибе.

Порой мистера Уоттса замечали в дальнем конце песчаного пляжа или видели мельком где-нибудь еще — правда, со спины: можно было только гадать, куда он ходил и что делал. И само собой, эти странные процессии. Муж и жена Уоттс проплывали мимо школы. Стоило им поравняться с первыми хижинами, как навстречу этой парочке устремлялись куры с петухами. Там, где хижины заканчивались, мистер Уоттс разворачивался на клочковатой траве в сторону кромки джунглей и катил жену вдоль свинарников. А мы залезали на деревья, болтали ногами и ждали, когда мистер Уоттс протащит под нами свою тележку. У нас теплилась надежда, что он сделает привал и перемолвится словечком с миссис Уоттс, — он ведь никогда не заговаривал

с ней при свидетелях. И немудрено: чтобы докричаться до миссис Уоттс, требовалась, видать, здоровенная луженая глотка, изрыгающая гром и молнию.

Легко верилось, что жена — юродивая. Зато мистер Уоттс был куда более таинственной личностью, потому что явился из неведомого мира. Моя мама говорила, что соплеменники его забыли. Служил бы он в горнорудной компании, его бы не тут не оставили.

Пока нашу школу не закрыли, у меня и в мыслях не было, какое значительное место занимала она в моей жизни. Время для меня измерялось вехами учебного года. Начало четверти, конец четверти, каникулы. Теперь времени стало — хоть отбавляй. По утрам никто нас не охаживал веником пониже спины, и наши матери не кричали над ухом: «А ну, вставай! Подымайся, соня!» По привычке мы просыпались с петухами, но долго валялись на своих тюфяках, пока собаки еще протяжно зевали и скулили во сне. А еще мы прислушивались, не пищат ли в воздухе москиты, которых мы страшились сильнее, чем повстанцев и карателей. У нас вошло в привычку подслушивать разговоры взрослых. Впрочем, кое-что мы и сами соображали. Прежде над головой

стрекотали вертолеты, которые, то скрываясь в облаках, то возвращаясь в синеву, кружили над горными вершинами. Теперь вертолеты стройным порядком летели в сторону моря. Достигали определенной точки, разворачивались и летели назад, словно что-то забыли. Что это была за точка, мы не ведали — просто булавочный укол далеко в небе, и все. Мы не видели, чтобы кого-нибудь сбрасывали в море. Но слухи такие ходили. Якобы краснокожие солдаты-каратели выталкивали пленных повстанцев в открытую дверцу вертолета, и те падали вниз — только руки-ноги дергались в воздухе. Когда мы, дети, оказывались в пределах слышимости, наши отцы и матери умолкали, а мы догадывались — на это ума большого не надо, правда ведь? — что за последнее время свершились новые зверства, подробности которых пока еще от нас скрывали.

Проходила неделя за неделей. Мы стали понимать, чем будет занято наше время. Оно будет занято ожиданием. Все только и делали, что ждали: хоть краснокожих карателей, хоть повстанцев — кто первым доберется до нашей деревни. Ждать пришлось долго, очень долго. Зато могу точно сказать, когда появились те и другие, потому что я твердо решила вести счет

времени. Вот откуда мне известно, что каратели явились в деревню за три дня до моего четырнадцатилетия. А еще четыре недели спустя пришли повстанцы. Но до всех этих событий Лупоглаз и его жена Грейс снова заставили о себе говорить.

~~~



— Подъем! — прокричала мама однажды утром. — В школу пора.

Не иначе как для нее настал желанный миг. Я почувствовала, что у нее от этих слов даже поднялось настроение. Как будто мы вернулись к привычному распорядку. Я, между прочим, знала, какой это день: среда. Маме-то было невдомек. У меня под тюфяком хранился карандаш. А на угловой стойке висел самодельный календарь. В школу я не ходила целых восемьдесят шесть дней. У меня над головой просвистел веник. Это мама выгоняла залетевшего в дверь петуха.

— Учителя-то у нас нет, — возразила я.

А мама с едва заметной улыбкой сказала:

— Теперь есть. Лупоглаз вызвался быть учи-
~~~

телем.

Бугенвиль — одно из самых благодатных мест на Земле. Бросил в почву семечко — глядишь, через три месяца выросло деревце с сочными зелеными листьями. Еще через три месяца можно собирать урожай. Но не будь у нас мачете, не было бы и огородной земли. Чуть зазеваешься — кустарники тут же сбегут по крутым горным склонам и заполонят все деревни цветами и лозами. Потому-то и школу мы так скоро забыли. Гибкие плети увили пару деревьев лиловыми и красными цветами, точно в искупление своей вины, а сами залезли на крышу, проникли в окна и уже цеплялись за потолок. Еще полгода — и школа исчезла бы в зарослях.

В школу вернулись ребята разного возраста, от семи до пятнадцати лет. Я насчитала двадцать человек, около половины от прежнего числа. Двое мальчишек постарше, как я знала, ушли в горы, к повстанцам. Три семьи уехали последним катером в Рабаул. Про остальных не знаю. Может, им просто никто не сказал, что школа открылась. Через неделю-другую могли подтянуться еще несколько человек. Лупоглаз уже дожидался нас в классе. Там было почти совсем темно, однако разглядеть высокого сухопарого белого человека

в льняном костюме не составляло труда. Он стоял у доски, избегая наших пытливых взглядов. Всем было интересно, надел ли он свой красный клоунский нос. Нет, нос он оставил дома. Но с прошлого раза в его облике изменилось не только это. Волосы у него отросли едва ли не до плеч. Раньше он стригся почти наголо, и нынешней рыжинки с проседью совсем не было заметно. Борода уже спускалась ему на грудь.

Прежде нас учила миссис Сяо. Росточку она была небольшого, чуть выше самых младших учеников. По сравнению с ней Лупоглаз на учительском месте выглядел настоящим великаном. Руки его свободно свисали по бокам. Когда мы гуськом входили в дверь, он даже не покосился в нашу сторону. Взгляд его был устремлен в дальний угол. Он и бровью не повел, когда в класс, виляя хвостом, забежал черный пес. Мы оценили учительскую выдержку: миссис Сяо в таких случаях начинала хлопать в ладоши и норовила пнуть собаку под зад.

Учеба начиналась заново, но совсем не такая, как раньше. Наверное, из-за этого всем было не по себе, как будто мы пытались втиснуться в прежние рамки, которых больше не существовало, по крайней мере в том виде, как нам запомнилось.

Мы рассаживались по своим местам, но даже парты были какие-то не такие — а может, это мы стали другими. Только гладкие деревянные ножки стула привычно холодили мне голени. Ребята даже не переглядывались. Все глазели на нового учителя, как на диковинку. А он, можно подумать, намеренно позволял нам себя рассмотреть. Когда все расселись, Лупоглаз встрепенулся.

Он переводил взгляд с одного ученика на другого, никого не выделяя. Просто отмечал для себя присутствующих. Кивком дал понять, что проверка окончена. Потом изучил зеленую лиану, свисающую с потолка. Дотянулся до нее рукой, сорвал и скомкал в пальцах, как ненужную бумажку.

Никогда прежде я не слышала его голоса. И другие ребята, по-моему, тоже. Я не знала, чего ожидать, но, когда он заговорил, голос его звучал на удивление тихо. Надумай этот великан кричать, как наши матери, он бы обрушил крышу. Но нет: он словно беседовал с каждым из нас наедине.

— Я хочу, чтобы здесь было светло, — сказал он. — Независимо от того, что нас ждет.

Он сделал паузу, чтобы мы это переварили. Когда наши родители заводили разговор о будущем,

они давали нам понять, что все перемены будут к лучшему. Сейчас мы впервые услышали, что будущее — шатко. А поскольку такую мысль высказал человек сторонний, мы навострили уши. Он обвел глазами наши лица. Если он и ожидал бунта, все опасения были напрасны.

— Мы должны расчистить это помещение, чтобы сделать его пригодным для занятий, — продолжал он. — Пусть оно станет как новое.

Когда его лицо с глазами навыкате повернулось к распахнутому окну, заросшему буйной зеленью, я заметила галстук. Узкий, черный, строгий, он прикрывал верхнюю пуговицу сорочки, расстегнутую на жаре. Жилистая белая рука поправила узел. Потом учитель опять повернулся к нам и поднял одну бровь.

— Да? — спросил он.

Переглянувшись, мы закивали. Кто-то сообразил ответить: «Да, мистер, Уоттс» — и остальные подхватили: «Да, мистер Уоттс».

Тут он поднял вверх указательный палец, как будто его осенило.

— Насколько я знаю, кое-кто говорит обо мне «Лупоглаз». Пожалуйста. Мне даже нравится.

И впервые за все годы, что я его знала, — правда, раньше я его видела только на улице, с тележ-

кой, в которой он катал жену, — мистер Уоттс улыбнулся. С той поры у меня больше не поворачивался язык называть его «Лупоглаз».

Мы принялись за работу. Сдернуть цветущие плети с крыши оказалось проще простого: они словно чуяли, что их дни сочтены, и не противились. Поодаль от здания, на расчищенном пятачке, мы развели костер, и лианы превратились в густой белый дым. Нескольких учеников мистер Уоттс отправил за вениками. Мы на совесть подмели полы. В косых предзакатных лучах солнца стала заметна паутина. Подпрыгивая, мы сметали ее прямо руками. Первый день занятий после долгого перерыва пришелся нам по душе. Мистер Уоттс ни на минуту не оставлял нас без присмотра. И не одергивал, когда мы галдели. Но стоило ему раскрыть рот, как все умолкали.

Потом мы вернулись за парты и стали ждать, когда нас распустят по домам. Он заговорил все тем же тихим голосом, который сразил нас в начале первого дня:

— Хочу, чтобы вы понимали, дети. Я не учитель, но буду стараться по мере сил. Это я вам обещаю. Надеюсь, при поддержке ваших родителей мы сможем изменить нашу жизнь к лучшему.

Тут он помолчал, словно обдумывая новую

мысль; видно, так оно и было, потому что вслед за тем он велел нам выйти из-за парт и встать в круг. Попросил взяться за руки или под руки, как больше нравится.

Те из нас, кто раньше ходил в церковь слушать проповедника, закрыли глаза и опустили головы. Но сейчас проповеди не последовало. Вместо этого мистер Уоттс поблагодарил нас за то, что мы пришли.

— У меня были сомнения, — сказал он. — Давайте говорить откровенно. Особой ученостью я похвалиться не могу. А потому скажу прямо: учиться мы с вами будем на житейских примерах. И конечно, у мистера Диккенса.

Это еще кто такой — мистер Диккенс? И почему в нашей деревне, где жителей было менее шести десятков, мы до сих пор его в глаза не видели? Ребята постарше притворились, что поняли, о ком идет речь. Один мальчишка даже брякнул, что это друг его дяди; а когда мы все оживились, он еще добавил, что и сам близко знаком с мистером Диккенсом. Засыпав его вопросами, мы тут же вывели этого балабола на чистую воду, и он улизнул, как побитая собачонка. Выходило, что мистера Диккенса никто не знает.

— Завтра мы познакомимся с мистером Дик-

кенсом, — сообщила я маме.

Она замерла с веником в руках.

— Такие имена бывают только у белых. — Покачав головой, она сплюнула на пол. — Нет. Ты, видать, не так поняла, Матильда. Лупоглаз — последний белый человек. Других нет.

— А мистер Уоттс говорит, что есть.

Я же своими ушами слышала. Слышала, как мистер Уоттс обещал говорить с нами по-честному. Раз он сказал, что мы познакомимся с мистером Диккенсом, значит, так и будет. Я сгорала от нетерпения: уж больно хотелось увидеть еще одного белого. Мне даже не пришло в голову спросить, где прятался этот мистер Диккенс. У меня не было причин не доверять мистеру Уоттсу.

Наверное, мама за ночь поверила мне на слово, потому что утром, когда я уже выбегала из дому, она меня окликнула:

— Насчет этого мистера Диккенса, Матильда: если улучишь минутку, попроси его генератор нам починить.

Все мои одноклассники получили примерно такие же поручения. Им наказали попросить у мистера Диккенса таблетки от малярии, аспирин, солярку для генератора, пиво, керосин, восковые свечи. Сидя за партами, мы положили перед

собой памятки и стали ждать, когда же мистер Уоттс познакомит нас с мистером Диккенсом. Тот, видно, запаздывал. В классе нас встретил только мистер Уоттс, который, как вчера, вытянулся у доски и, судя по всему, глубоко задумался, если, конечно, не собирался высмотреть что-то новое на задней стене. А мы все время косились в окно. Боялись пропустить белого человека.

За окном виднелись прибрежные пальмы на фоне синего неба. И бирюзовое море, такое безмятежное, что не сразу заметишь. На полпути между кромкой моря и горизонтом маячила армейская канонерка. Серой морской мышью она ползла по водной глади, целясь в нас жерлами пушек. С гор то и дело долетали беспорядочные выстрелы. Мы к ним уже привыкли — надеялись, что это повстанцы проверяют исправность отремонтированных винтовок, да к тому же стрельба шла гораздо дальше, чем могло показаться. Мы уже знали, что вода усиливает все звуки, и для нас пальба превратилась в повседневный шум, как хрюканье свиней и пронзительные крики птиц. Дожидаясь, когда очнется мистер Уоттс, я разглядела на потолке трех гекконов ядовито-зеленого цвета и еще одного побледнее. В распахнутое окно залетел крючкоклюв — и тут же упорхнул

обратно. Мы заерзали: будь у нас сетка, этой птицей можно было бы пообедать. Как только крючкоклюв улетел, мистер Уоттс начал чтение.

Никогда прежде мне не читали на английском. И другим ребятам тоже. В семьях у нас книг не держали, а те печатные издания, которые еще до блокады время от времени привозили из Морсби, были на местном наречии. Как только мистер Уоттс начал читать, все притихли. В мире появился новый звук. Учитель читал медленно, донося до нас облик каждого слова.

— *«Фамилия моего отца была Пиррип, мне дали при крещении имя Филип, а так как из того и другого мой младенческий язык не мог слепить ничего более внятного, чем Пип, то я называл себя Пипом, а потом и все меня стали так называть»*[2].

Мистер Уоттс нас даже не предупредил. Просто взял да и начал читать. Сперва даже не все поняли, что к чему. Мое место было за предпоследней партой. Сидевший передо мной Гилберт Масои загораживал мне обзор своими толстыми

[2] Примечания: 2

Здесь и далее цитаты из романа Чарлза Диккенса «Большие надежды» (1860), а также из его писем приводятся по изданию: *Диккенс Ч.* Полное собрание сочинений в 30 томах. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1957–1960.

плечами и косматой головой. Поэтому, заслышав учительский голос, я решила, что мистер Уоттс рассказывает о себе. Будто бы его зовут Пип. И только когда он стал прохаживаться по классу, я увидела у него в руке книгу.

Он все читал, а мы обратились в слух. Через некоторое время он замолчал, подняв глаза от текста; мы боялись пошевелиться, ошеломленные наступившей тишиной. Течение речи остановилось. Мало-помалу мы вышли из оцепенения и вернулись к реальности.

Мистер Уоттс закрыл книгу и, как священник, воздел ее над головой. Потом он с улыбкой обвел взглядом класс.

— Это была первая глава романа «Большие надежды» — величайшего, кстати сказать, романа Чарльза Диккенса, величайшего из всех английских писателей девятнадцатого века.

Тут все почувствовали себя безмозглыми, как летучие мыши: надо же, размечтались о встрече с живым человеком по имени мистер Диккенс. Наверное, мистер Уоттс догадался, какая каша у нас в головах.

— Читая произведения великого писателя, вы знакомитесь с ним самим, — сказал учитель. — А значит, можно считать, что ваша встреча с ми-

стером Диккенсом состоялась как положено. Хотя вы его еще совсем не знаете.

Одна девочка помладше, Мейбл, подняла руку — решила что-то спросить. Сначала мы подумали, что мистер Уоттс этого не заметил, потому что он гнул свое, хотя Мейбл вовсю тянула руку.

— Вот теперь милости прошу задавать вопросы. Ответить смогу не на все. Предупреждаю заранее, — говорил он. — И еще: перед тем как задать вопрос, называйте, пожалуйста, свое имя.

Теперь он кивнул, обращаясь к Мейбл. Она, как видно, пропустила его слова мимо ушей, потому что сразу начала задавать вопрос, но мистер Уоттс прервал ее на полуслове, вздернув одну бровь, из-за чего впервые за сутки нам снова вспомнилось его прозвище — Лупоглаз.

— Вот умница. Чрезвычайно рад знакомству, Мейбл. Красивое имя, — заметил он.

Мейбл просияла. Она поерзала за партой, а потом решилась:

— А когда мы узнаем мистера Диккенса по-настоящему?

Мистер Уоттс взялся за подбородок. Наверное, раздумывал; мы не мешали.

— Очень хороший вопрос, Мейбл. Пожалуй,

с ходу я бы сказал, что на него ответа нет. Но постараюсь ответить. Некоторые из вас узнают мистера Диккенса, когда мы дочитаем книгу. В ней пятьдесят девять глав. Если читать по главе в день, то остается еще пятьдесят восемь дней.

Такое сложно было объяснить дома. С мистером Диккенсом мы встретились, но пока еще не познакомились, а узнаем его только через пятьдесят восемь дней. Дело было десятого декабря тысяча девятьсот девяносто первого года. Я быстро прикинула в уме: знать мистера Диккенса мы будем только к шестому февраля одна тысяча девятьсот девяносто второго года.

~~~

Ночь в тропиках опускается мгновенно. Прожитого дня как не бывало. Смотришь, к примеру, на тощих, облезлых собак. А потом раз — и остались от них только черные тени. Если нет под рукой свечи или керосиновой лампы, то с приходом ночи ты словно попадаешь в темницу и маешься взаперти до рассвета.

Во время блокады солярка и свечи были на вес золота. Бои между повстанцами и солдатами-наемниками шли в светлое время суток, но наступления темноты мы ждали не только по этой причине. Мистер Уоттс подарил нам, детям, возможность проводить ночные часы в другом мире. Мы находили прибежище в далеких краях. И не беда, что это была викторианская Англия. Оказалось, перенестись туда совсем не трудно. Если только не мешали эти проклятые собаки да петухи.

Когда мистер Уоттс дочитал первую главу, мне стало казаться, будто со мной говорил тот мальчик, Пип. Которого я не могла ни увидеть, ни коснуться, но узнавала по голосу. Мы с ним
~~~

подружились.

Но удивительней всего было место нашей первой встречи: он ведь не лазал по деревьям, не отсиживался, насупленный, в тени, не плескался в горном ручье — он жил в книге. Никто и никогда не говорил нам, детям, что в книге можно найти себе друга. Или влезть в чужую шкуру. Или перенестись в болотистый край, где, как нам казалось, лютовали злодеи почище пиратов. По-моему, мистер Уоттс больше всего любил читать по ролям. Попеременно говоря за каждого из героев, он весь растворялся в их голосах. Это еще одна штука, которая нас поразила: читая, мистер Уоттс как будто переставал быть собой. Мы даже забывали о его присутствии. Когда Мэгвич, беглый заключенный, грозился вырвать Пипу сердце с печенкой, если тот не принесет ему жратву и подпилок для кандалов, мы слышали не мистера Уоттса, а Мэгвича, словно этот арестант, пробравшись в школу, затесался среди нас. Чтобы окончательно в этом убедиться, достаточно было просто закрыть глаза.

Многие слова до меня не доходили. Ночью, лежа на тюфяке, я пыталась мысленно нарисовать себе болота и гадала: что такое «жратва», что такое «кандалы»? В самых общих чертах это

можно было представить. «Болота». Наверное, это все равно что зыбучие пески. Про зыбучие пески я знала: они затянули одного рудокопа, и он сгинул. Давно это было, еще до закрытия рудника, когда белые копошились на Пангуне[3], как муравьи на трупе.

Мистер Уоттс показал нам другую сторону мира. Я обнаружила, что туда можно возвращаться по своему хотенью. Причем в любую точку этой придуманной истории. Но я не верила, что история, которую нам читали на уроках, кем-то придумана. Нет. Человек просто рассказывал о себе и о своих приключениях. Раз за разом отдельные картины западали мне в душу. Например, как Пип стоит на кладбище перед могилами родителей и пятерых маленьких братцев. Смерть была для нас не внове: мы сами видели, как на горном склоне хоронили умерших младенцев. У меня с Пипом было еще кое-что общее: мой папа нас покинул, когда мне было одиннадцать, так что и Пип, и я почти не знали своих отцов.

Я-то своего, конечно, помнила, но по-детски: как неясный, смутный образ, нарисованный одним цветом, от силы двумя. Мне никогда не

---

[3] Примечания: 3

Пангуна — медно-порфировое месторождение на острове Бугенвиль (Папуа — Новая Гвинея), одно из богатейших в мире.

доводилось видеть его страх или слезы. Я не слышала, чтобы он признавал свои ошибки. Не представляла, о чем он мечтал. Однажды, когда мама на него кричала, я заметила у него на одной стороне лица приклеенную улыбку, а на другой — мрачность. После его отъезда у меня осталось лишь туманное воспоминание.

По форме букв на могильной плите Пип почему-то решил, что отец его был «плотный и широкоплечий, смуглый, с черными курчавыми волосами».

По примеру Пипа я тоже решила составить для себя отцовский портрет. Нашла какие-то записи, сделанные его рукой. Мелкими печатными буковками. Что из этого следовало? Что он хотел выделиться, но не слишком? У меня в ушах все еще гремел его оглушительный хохот. Мы с мамой спали рядом, и как-то ночью, в темноте, я у нее спросила: а наш папа — счастливый человек? Она ответила: «Счастливый, да не по-людски; выпил — и счастливый».

Тогда я спросила: а он у нас плотный и широкоплечий? В потемках мама приподнялась на локте.

— Плотный! От кого ты слов таких набралась, дочка?

— От мистера Уоттса.

— От Лупоглаза. От кого ж еще, — фыркнула мама и снова легла.

— Это из книги.

— Из какой такой книги?

— «Большие надежды».

Я дала ей три немногословных ответа. Последний ее ошеломил. Мама ушла в себя. Я прямо слышала, как у нее в голове скрипят мрачные мысли. Она ворочалась с боку на бок на своем тюфяке. До меня доносилось ее сердитое сопенье. Не знаю, на что она злилась. Пока мы лежали без сна, дом полнился ночными звуками. До нас доносилось рычанье собак, которые охотились за тенями. По ночам даже вода делается шумной; мы лежали и слушали, как шуршат океанские волны, набегая на песок и откатываясь назад. Лежали мы, лежали, а потом мама заговорила:

— Ну что, Матильда, будешь рассказывать маме про эту книгу или нет?

Впервые в жизни мне представился случай рассказать ей кое-что о мире. О другой, незнакомой жизни, про которую она слыхом не слыхивала. И даже вид не делала, а потому я могла раскрашивать ту жизнь в любые цвета. Я не помнила дословно прочитанные мистером Уоттсом

страницы и не могла рассчитывать, что мама погрузится в тот мир вместе с ребятами и станет переживать за Пипа или за кого-нибудь еще, да хоть за беглого арестанта. Поэтому я, как могла, поведала ей, что у Пипа нет ни отца, ни матери, ни братьев, и мама воскликнула:

— Пропащая душа!

— Нет, — возразила я. — У него сестра есть. А у той — муж, зовут Джо. Они взяли Пипа к себе.

Я рассказала ей, как беглый арестант подкараулил Пипа на кладбище. Как угрожал вырвать Пипу сердце с печенкой, если тот не выполнит его приказ. Рассказала, как Пип побежал домой, чтобы стащить напильник и еду, а с утра пораньше отнести все это каторжнику.

Рассказчица из меня была никудышная. История получилась нудной. Простой перечень событий — и все. Дойдя до конца, я сказала:

— Дальше пока не знаю.

В ночи выла собака. Где-то скрипнула дверь. Из соседского дома послышался громкий голос. Через некоторое время мама заговорила:

— А ты сама как бы поступила, дочка? Вот подстережет тебя в джунглях этакий злыдень и прикажет меня обворовать. Ты его послушаешься?

— Ни за что, — выпалила я; слава богу, в темноте мама не видела мою лживую физиономию.

— Пусть бы этот Лупоглаз поучил вас, как себя вести, — сказала она. — Я хочу досконально знать, что написано в этой книге. Слышишь меня, Матильда?

На других уроках, когда мистер Уоттс не читал нам «Большие надежды», мы делали разные упражнения, учились грамотно писать, зубрили таблицу умножения. Мистер Уоттс хотел, чтобы мы знали названия стран на все буквы, от Австралии, Америки, Андорры и до Японии. Учебников у нас не было. Были только память и сообразительность, но мистер Уоттс говорил, что этого вполне достаточно.

В знаниях мистера Уоттса были пробелы. И притом довольное большие, за которые он всякий раз перед нами извинялся. К примеру, скажет слово «химия», а дальше — ничего. Сыпал именами великих людей: Дарвин, Эйнштейн, Платон, Архимед, Аристотель. Мы даже подозревали, что он их выдумал — уж очень путано он объяснял, чем они прославились и для чего их нужно знать. Но все равно для нас он был учителем и потому заслуживал уважения. Как-то раз на берег выбросило диковинную рыбину, и мы без промедления

побежали за мистером Уоттсом, чтобы он опознал эту морскую тварь, больше похожую на змеюку. И неважно, что он стоял над ней с недоуменным видом, понимая не больше нашего.

Зато когда речь заходила о мистере Диккенсе, наш учитель становился настоящим знатоком. И мы были за него рады. Он всегда так и говорил: «мистер Диккенс», а не просто «Диккенс» и уж тем более не «Чарльз». Поэтому, упоминая имя писателя, мы следовали его примеру. Мистер Диккенс так часто возникал в наших беседах, что уже казался нам живым человеком, таким же, как мистер Уоттс. Просто мы с ним еще не познакомились.

Мистер Уоттс рассказывал нам об Англии. Он там побывал. Но с таким же успехом мог бы нам поведать, что летал на Луну. Мы с трудом выдавливали хоть какие-нибудь вопросы. Моя подружка Силия поинтересовалась, есть ли там чернокожие люди. Мистер Уоттс отрывисто бросил «да» и стал обводить взглядом класс, ожидая следующего, более толкового вопроса, а Силия украдкой покосилась на меня из-под своих черных кудряшек.

Вскоре мы пришли к выводу, что Англия на свете не одна, их много, и мистер Уоттс посетил

только две или три. Англия, в которой побывал мистер Уоттс, сильно отличалась от той, где жил и творил мистер Диккенс. У тех ребят, которые никогда не бывали за пределами острова, такие различия не укладывались в голове: мы считали, что живем точно так же, как было заведено нашими дедами и их дедами, причем с началом блокады наше убеждение лишь окрепло. Мама любила рассказывать, как мой дедушка впервые в жизни отправился на пароходе в Рабаул. Без задней мысли ткнув локтем другого пассажира, стоявшего на палубе, дед спросил: «Что за огромные свиньи бегут вон там, за деревьями?» Просто он никогда не видел автомобилей.

Делая шаг в сторону от Англии и от мистера Диккенса, мистер Уоттс терялся. Однажды Гилберт поднял руку и спросил, как ездит автомобиль; мистер Уоттс пробормотал что-то несуразное. Почесал в затылке. Завел все сначала. Ясное дело, мы и без него знали про бензин и про ключ в замке зажигания. Гилберт хотел понять, как именно работает движок. Мистер Уоттс ответил, что с ходу растолковать сложно. Легче показать на рисунке. И в который раз попросил нас проявить терпение, пока он не придумает, как это получше объяснить.

Мистеру Уоттсу никто не пенял на его слабину, он и сам все понимал: недаром же через пару недель после возобновления уроков он стал приглашать в школу наших матерей, чтобы те поделились своими знаниями о мире.

~~~



Первой пришла перед нами выступить мама девочки по имени Мейбл. Миссис Кабуи помедлила на пороге, освещенная ярким послеполуденным солнцем. Мистер Уоттс сделал приветливый жест, и гостья торопливо приблизилась, чтобы пожать ему руку. А потом зашептала на ухо мистеру Уоттсу. Я заметила, как Мейбл сдвинулась на самый краешек стула. Мистер Уоттс кивнул, и, судя по всему, миссис Кабуи успокоилась.

— Дети, нам сегодня очень повезло, — начал мистер Уоттс. — Миссис Кабуи согласилась рассказать об удивительной жизни и приключениях сердцевидного семечка.

Мама Мейбл застенчиво улыбнулась. Она пришла босиком, в белой блузе и красной юбке.
~~~

Стоило ей улыбнуться, как все разом забыли, что блуза у нее прохудилась на плече и заляпана грязными детскими ручонками. Начала она негромко, с великой тщательностью подбирая слова.

— Спасибо, мистер Уоттс. Спасибо вам большое. Я, ребятки, надеюсь вас удивить.

Она оглядела класс, чтобы проверить, готовы ли мы ее слушать. Мы были готовы.

— Для затравки скажу, что некоторые сады начинают свою жизнь в океане. — Она снова осмотрела класс, будто не замечая свою дочь, сидевшую за партой. Миссис Кабуи улыбалась нам всем сразу. — А рассказ мой будет про сердцевидное семя.

Она объяснила, что один день семечко плывет но воде. На второй день его выбрасывает на песок. Неделю оно сохнет под морским бризом и солнцем, становясь невесомым, как чешуйка. Целый месяц его гоняет ветер, крутит так и этак, а потом бросает на землю. Через три месяца из земли уже торчит зеленый побег. А по прошествии девяти месяцев на нем раскрываются белые цветы, которые глядят в сторону моря, откуда они вышли.

— Ребятки, как вы думаете, к чему я веду речь? Да к тому, что у них тычинки горят на славу и

отпугивают москитов.

Учитель заморгал, будто спросонья. Мне показалось, он ожидал продолжения, а мама Мейбл, внезапно закруглившись, его озадачила.

— Очень хорошо, миссис Кабуи. Блестяще. Сердцевидное семечко.

Кивком он призвал нас встать и похлопать. Мейбл хлопала громче и дольше всех. Ее мама низко поклонилась и опустила голову. Потом выпрямилась и рассмеялась. Все остались довольны. Никто не испытал ни смущения, ни стыда.

Потом нас ждали «Большие надежды». Все были в нетерпении. Под нашими взглядами мистер Уоттс взял со стола книгу. Мама Мейбл тоже это увидела. Прикрыв рот ладонью, она шепотом обратилась к мистеру Уоттсу. Мы только и услышали, как он ответил: «Да, разумеется, разумеется». Мистер Уоттс указал на свободную парту, и мама Мейбл села, чтобы послушать чтение величайшего романа, написанного величайшим из английских писателей девятнадцатого века.

Мне нужно было не просто наслаждаться книгой, а слушать с удвоенным вниманием, чтобы вечером по маминому требованию продолжить историю Пипа. Особенно меня завораживало учительское произношение. Я любила щегольнуть

перед мамой каким-нибудь словцом, которого она не знала. В ту пору мне было невдомек, что все ученики точно так же, по частям, приносили домой «Большие надежды» и пересказывали своим родным.

Голос из темноты звучал сердито и даже с обидой:

— Значит, он стянул у матери свиной паштет.

Паштет. Я ухмыльнулась в темноту. Мама не умела выговаривать это слово так, как произносил его мистер Уоттс.

Но сейчас, как я поняла, требовались некоторые уточнения. Кое-кто пропустил мимо ушей, что родители Пипа умерли. Я это упоминала, но теперь пришлось объяснить заново. Растолковать, что мальчика воспитали его сестра и некто по имени Джо; «своими руками», добавила я, раздумывая, что бы это значило.

— Стало быть, он стянул паштет у родной сестры.

— Ну да, — уступила я.

— И как об этом высказался Лупоглаз?

Мистер Уоттс об этом не высказывался, но я знала, что так отвечать не следует. В потемках висело неодобрение. И я покривила душой.

— Мистер Уоттс сказал, что нужно учитывать

все прочие обстоятельства.

Сама не понимаю, как я до такого додумалась. Наверное, просто повторила чужие слова, сказанные совершенно по другому случаю, который давно выпал из памяти.

Мама заворочалась на тюфяке. Она ждала продолжения, а я столь же упрямо ждала ее вопроса «Что было дальше?», который мама выдавила очень скоро, досадуя от необходимости меня просить.

«Мглистое утро» — я решила непременно принести домой эти слова. Так я и сделала: ввернула их в свой рассказ о том, как Пип нес свиной паштет и подпилок арестанту Мэгвичу, поджидавшему на болоте. «Утро было мглистое…»

Из вредности я замолчала, чтобы мама спросила из темноты, что это означает. Но она только засопела еще строже, словно разгадан мои мысли и намерения.

Дело было вечером того дня, когда я впервые подняла руку, чтобы задать вопрос. Трясти поднятой рукой, как Мейбл, я не стала. Терпеливо дождалась, пока мистер Уоттс мне кивнет. И начала как положено:

— Меня зовут Матильда.

— Слушаю тебя, Матильда.

— А что такое «мглистое утро»?

— «Мглистое» означает туманное, морозное утро. В наши дни это слово услышишь нечасто. — Он улыбнулся. — У тебя тоже красивое имя, Матильда. — И спросил: — Почему тебя так назвали?

— В честь папы.

— То есть как?..

Я предвидела такой вопрос. Мой отец работал на северном руднике вместе с австралийцами. Они прозвали его Матильдой[4]. Он передал это имя моей маме. А она — мне. Так я и объяснила.

— Прямо семейная реликвия.

С этими словами учитель отвел глаза. И внезапно помрачнел. Уж не знаю почему. Наконец он вернулся к страницам книги, но заметил, что я снова тяну руку.

— Да, Матильда.

— А что такое «морозное утро»?

Обдумывая заданные вопросы, мистер Уоттс

---

[4] Примечания: 4

Аллюзия к известнейшей австралийской народной песне «Waltzing Matilda» (*англ.* букв. «Вальсирующая Матильда»). «Официального» текста этой песни не существует, в разных изданиях возможны вариации. Из-за насыщенности австрализмами иностранцы с трудом воспринимают этот текст с первого раза. На австралийском сленге «Матильда», упоминаемая в каждом куплете, — это заплечный мешок безработного бродяги. «Вальсировать с Матильдой» означает путешествовать с узелком, бьющим по спине при каждом шаге.

всегда упирался взглядом в заднюю стену или в окно, будто высматривал там ответ. Но в этот раз он переадресовал вопрос классу:

— Кто скажет, что такое «морозное утро»?

Никто не знал. Пришлось мистеру Уоттсу самому дать объяснение, и оно нас ошарашило. Это когда воздух настолько холодный, что изо рта валит пар, а былинка ломается в руках. В каком же мире такое возможно? Вот уже год и четыре месяца — с тех пор как вышел из строя последний генератор — никто из наших ребят не пробовал ничего холодного. Холодным теперь считалось все, что хранилось в тени или обдувалось ночным ветром.

Мглистое утро. Я ждала, когда же мама клюнет на эту наживку. Но нет. Она пропустила мимо ушей мое «мглистое утро». А может, не хотела показаться глупой или отсталой. Поэтому, не дождавшись ее вопроса, я повела рассказ о новых событиях, более увлекательных. Как арестант вгрызался в еду, точно дворовая собака. Как на кухне топтались стражи порядка, когда Пип вернулся домой. Маме это особенно понравилось. Она даже причмокнула в темноте.

Но это был последний раз, когда она попросила рассказать следующую главу. И причина,

по-моему, ясна. Всему виной «мглистое утро». Хоть она и промолчала, до меня дошло: мама решила, что это бахвальство и что я отхватываю от мира больший кусок, чем она сможет переварить, не подавившись такими выражениями, как «мглистое утро». Она не захотела поощрять меня вопросами. Не захотела подталкивать еще дальше в тот чуждый мир. Мама беспокоилась, что викторианская Англия отберет у нее Матильду.

~~~

На рассвете мы слышали, как над деревней проносятся армейские вертолеты — сначала в одну сторону, потом в другую. Эти гигантские стрекозы таращились вниз, на землю, расчищенную от зарослей. Но видели только вереницу заброшенных хижин да пустой пляж, потому что мы успевали сняться с обжитых мест. Все до единого. Старики. Отцы и матери. Дети. Забирали с собой даже тех собак и кур, у которых были имена. Мы прятались в джунглях и выжидали. Выжидали до тех пор, пока вертолеты в потемках не начинали задевать брюхом верхушки деревьев. Нас обдувало ветром, который поднимали лопасти винтов. Помню, я обводила глазами сбившихся в кучку людей и недоумевала: где же мистер и миссис Уоттс?

Укрываясь под кронами, мы спускались по заросшей горной тропе, ведущей назад, в деревню. Собаки, те, что вконец отощали, состарились и уже не покидали своих излюбленных мест, только поднимали морды. По улице важно расхаживали петухи. Рядом с ними ты ощущал свою
~~~

человечью сущность, потому что животные и птицы ничего не понимали. Не понимали, что против нас — пулеметы и каратели из Морсби. Не знали про закрытый рудник, про политику, про наши опасения. Петухи только и умели, что петушиться.

«Вертушки» улетели, а страх остался. Мы не понимали, как с этим жить. Болтались но улице. Мешкали в дверях. Смотрели в никуда. А потом один за другим решили: делать нечего, нужно возвращаться к привычной жизни. Иными словами — в школу.

Мы гуськом входили в класс, а мистер Уоттс уже стоял подле учительского стола. Дождавшись, чтобы даже самые медлительные уселись за парты, я подняла руку. И спросила, слышал ли он вертолеты и где прятался вместе с миссис Уоттс. Этот вопрос вертелся на языке у каждого из нас.

Не иначе как мистера Уоттса позабавило выражение наших физиономий. Он повертел в пальцах карандаш и ответил:

— Мы не прятались, Матильда. Миссис Уоттс была не расположена к утренним вылазкам. Что же до меня, утренние часы я посвящаю чтению.

Вот и весь сказ.

— Сегодня мы будем иметь честь послушать

твою маму, верно, Матильда? — спросил он.

— Верно, — промямлила я, старательно пряча свои дурные предчувствия.

Но в школу явилась не моя мама, а чужая — просто перепутала день. Это была жена рыбака Уилсона Масои; их сын Гилберт ходил в школу только в те дни, когда отец не брал его с собой в море. Мама Гилберта отличалась тучностью. В дверь она протиснулась боком. Гилберт — это тот самый мальчик с лохматой копной волос, который сидел передо мной. Сегодня его голова не загораживала мне обзор, потому что он вжался в парту от стыда за свою мать. Это не укрылось от мистера Уоттса. Он стрельнул взглядом в сторону задних парт, словно что-то запамятовал.

— Сделай одолжение, Гилберт. Представь нам свою маму.

Гилберт содрогнулся. Втянул щеки. Нехотя выбрался из-за парты. Едва держась на ногах, он свесил голову и полузакрыл глаза. Мы услышали его сдавленный голос:

— Это мама.

— Ну же, Гилберт, — поторопил мистер Уоттс. — У мамы есть имя?

— Миссис Масои.

— Миссис Масои. Спасибо, Гилберт. Садись.

Учитель коротко посовещался с мамой Гилберта. Во время разговора он легко придерживал ее под локоть. У нее была большая голова, как будто окутанная черной ватой. Мама Гилберта пришла босиком, в белом засаленном балахоне. Достигнув соглашения, мистер Уоттс сказал:

— Вот и славно.

А потом объявил:

— Миссис Масои поделится кулинарными секретами.

Мама Гилберта развернулась к нам лицом. Она зажмурилась и начала, как по писаному:

— Чтоб забить осьминога, куси его повыше глаз. Собрался варить черепаху — дай ей отлежаться на панцире вверх ногами. — Она покосилась краем глаза на мистера Уоттса, и тот кивнул, сделав ей знак продолжать. — Коли надумал забить свинью, покличь двоих дядьев поздоровее — пусть придавят ей шею доской.

Отбарабанив совет насчет забоя свиньи, она открыла глаза и повернулась к мистеру Уоттсу. Он попытался обратить это в шутку и спросил, как выбрать подходящих дядьев. Миссис Масои ответила:

— Самых толстых. Чем толще, тем лучше. От худых-то какой прок?

Бедный Гилберт. Сидя прямо передо мной, он содрогался и елозил по скамье своим тяжелым задом.

Наутро мы опять проснулись под стрекот вертолетов. Мама в панике склонилась надо мной. Она вопила, чтобы я не мешкала. С улицы доносились крики и перестук вертолетных лопастей. В открытое окно летела рваная листва, смешанная с пылью. Мама швырнула мне одежду. Люди разбегались кто куда. Я добежала до опушки леса, и мама стала тянуть меня все дальше и дальше в заросли. По ровному стуку лопастей мы поняли, что вертолеты сели. Меня со всех сторон окружали потные лица. Мы старались слиться с неподвижностью деревьев. Кто-то остался стоять. Кто-то присел на корточки — главным образом женщины с новорожденными детьми. Каждая дала ребенку грудь, чтобы заткнуть ему рот. Никто не переговаривался. Мы ждали и ждали. Хоть мы и не двигались, с нас ручьями катился пот. Наконец вертолеты стали удаляться. Но мы все равно не выходили из укрытий, пока отец Гилберта не подал нам знак, что путь свободен. Кое-как выбравшись из джунглей, мы поплелись в деревню.

На поляне солнце жгло нашу убитую живность.

Куры с петухами лежали на вздувшихся боках. Их отрубленные головы вперемешку валялись поодаль. Те же мачете, что обезглавили домашнюю птицу, полоснули по бельевым веревкам и садовым кольям. У старого пса было вспорото брюхо. Мы глазели на это зрелище, вспоминая, что рассказывал отец Гилберта, побывавший на северном побережье, где шли самые кровопролитные бои. Теперь мы представляли, как будет выглядеть человек со вспоротым животом. Удивлению не осталось места. Глядя на этого черного пса, каждый видел на его месте сестру или брата, мать или отца. Теперь все поняли жестокость солнца и глупость приветливых пальм, что махали морю и небу. Деревья вообще должны стыдиться: совести у них нет. Смотрят свысока — и хоть бы хны.

Отец Мейбл поднял мокрого от крови пса на руки и крикнул стоявшему поблизости мальчику, чтобы тот помог заправить кишки в рану. Они отнесли пса на опушку леса и закопали под деревом. Кличка у этого пса была Черныш.

Наша кормилица, козочка, исчезла без следа. Если бы ее зарезали, от нее бы остались внутренности. Мы решили поискать в джунглях. Нас обнадежила пара тропок, но одна закончилась

у водопада, а вторая привела к непроходимым зарослям. Видно, козочку унесли краснокожие. Как они это сделали — нетрудно представить. Взяли веревку, нет, две веревки, и стянули козочке задние ноги с передними. Вздернули кверху. Мы так и видели, как ее большие глаза заволокло изумлением, когда она впервые в жизни увидела под собой кроны деревьев. Нам оставалось только гадать, что испытывала наша коза, когда ее копытца щекотала невероятная легкость.

Блокада сомкнулась в мае девяностого. Мы рассчитывали, что весь мир придет нам на помощь — это только вопрос времени. Все вокруг нашептывали одно слово: терпение. И вот чем оно обернулось. К нам пришли совсем не те.

Мы лишились домашней птицы, но это еще полбеды. В океане было полно рыбы, а деревья исправно приносили плоды. Нам не давал покоя пес Черныш, у которого под беспощадным солнцем вывалились из живота кишки.

В тот же день моя мама тоже пришла в школу. Она меня даже не предупредила. Я не представляла, о чем может рассказать. Если и были у нее какие-то знания, то лишь почерпнутые из Библии.

Точно так же, как в случае с Гилбертом, мистер

Уоттс выискал меня своими большими выпученными глазами.

— Матильда, исполни, пожалуйста, обязанности хозяйки.

Я встала и объявила то, что все и так знали:

— Это моя мама.

— У мамы есть имя?

— Долорес, — сказала я, поспешив скользнуть за парту. — Долорес Лаимо.

Мама улыбнулась. На ней красовался зеленый платок, присланный отцом в одной из последних посылок. Мама туго обвязала его вокруг головы, как повстанцы завязывали свои красные банданы. Волосы она стянула в узел. Это придавало ей дерзкий вид. Уголки сжатых губ были опущены, ноздри раздувались. Мой отец говорил, что в ее жилах течет праведная кровь. Ей бы при церкви служить, повторял он, видя, что мама начисто лишена умственного дара убеждения. Ее доводы не лезли ни в какие ворота. Она делала ставку на твердость веры. И все ее существо — от белков глаз до мускулистых икр — ратовало за ее правоту.

Улыбалась мама редко. Главным образом в тех случаях, когда одерживала победу. Или же по ночам, когда думала, что ее никто не видит.

Погружаясь в раздумье, она становилась сердитой, как будто работа мысли была для нее вредоносной, а то и унизительной. Даже простая собранность придавала ей сердитое выражение. Получалось, что она почти все время сердится. Раньше я думала — это оттого, что она думает об отце. Но невозможно же думать о нем сутки напролет. Она назубок знала «Писание» — так она выражалась. И много над ним размышляла. Вряд ли в этой книге было нечто такое, что могло ее рассердить, но впечатление складывалось именно такое. Ребята ее побаивались.

Наверное, она об этом догадывалась, потому что взяла более мягкий тон, какой я слышала у нее по ночам, пока между нами не вклинились «Большие надежды».

— Детки, я пришла побеседовать с вами о вере, — изрекла она. — Вера должна быть у каждого. Да, у всех без исключения. У пальм есть воздух — это их вера. У рыб есть море — это их вера.

Обведя глазами класс, она принялась распространяться на ту единственную тему, что была ей понятна и близка.

— Когда в наших краях появились миссионеры, они стали учить нас вере в Бога. Но если мы изъявляли желание увидеть Бога, миссионеры

отказывались нас познакомить. Старые люди полагались на мудрость крабов и рыб-спинорогов, которые очертаниями напоминают алмаз «Южная звезда»[5]; да и то сказать, от одного острова до другого можно доплыть, не поднимая головы — просто следуя за такой рыбой. Что скажете, детки, а?

Она подалась вперед. Вопрос был адресован только ученикам. Мистера Уоттса будто бы в классе не было. Но пожелай она расширить число слушателей, учитель стоял наготове. Прислонившись к столу, он сложил руки на груди.

— Хорошо иметь в попутчиках рыбу-спинорога, вы согласны? Коли следуешь за ней, можешь смело говорить, что своим спасением обязан вере — именно так в пору моего детства и сказал моему отцу один старый рыбак, спасшийся с затонувшей лодки. Ночью он плыл по звездам. А днем переворачивался лицом в воду и следовал за спинорогом. Это чистая правда.

Никто и не спорил. Мои одноклассники сидели

---

[5] Примечания: 5

«Южная звезда» — бразильский алмаз весом 254.5 карата, найденный в 1853 г. По легенде, этот великолепный алмаз случайно нашла невольница, отдавшая находку своему хозяину, но так и не дождавшаяся от него свободы. После огранки бриллиант стал весить 125.5 карата. Специалисты относят «Южную звезду» к красивейшим бриллиантам мира.

не шелохнувшись. От них исходил страх, и мне от этого было не по себе.

Мама удовлетворенно хмыкнула. Она добилась своего. Мы превратились в косяк оцепеневших рыбешек, у которого кругами ходит акула. Стараясь не испортить произведенного впечатления, мама неспешно расправила плечи.

— Слушайте дальше. Вера — как кислород. Она позволяет днем и ночью оставаться на плаву. Порой она вам нужна. Порой нет. Но если кому покажется, будто вера не нужна, необходимо ее укрепить, чтобы она не потеряла силу. Для того миссионеры и построили столько храмов. Покуда мы не ходили в церковь, вера наша была шаткой. Но есть молитвы — укрепляйтесь в своей вере, детки. Укрепляйтесь. И не поленитесь выучить наизусть такие слова: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет».

Мамино лицо озарилось редкой улыбкой. Высмотрев меня на задней парте, она задержала на мне взгляд.

— Нет на свете слов прекраснее, чем эти.

Несколько голов повернулись в мою сторону, как будто именно я должна была возразить. К

счастью, меня спасла Вайолет, подняв руку. Она попросила мою маму рассказать подробнее о мудрости крабов. Мама вопросительно посмотрела на мистера Уоттса.

— Прошу вас, — сказал он.

— Крабы, — произнесла мама и воздела глаза к потолку, хотя там бегали только гекконы. Да и тех она не увидела. Ее мысли сосредоточились на крабах, и прежде всего на их способности предсказывать погоду. — Если краб роет нору отвесно вниз и закладывает вход песком, делая на нем метки наподобие солнечных лучей, — жди ветра с дождем. Если краб оставил песчаный холмик, но вход в нору не заложил, это к сильному ветру, только без дождя. Если краб заложил вход в нору, но не сровнял с землей холмик, жди дождя и безветрия. Если краб и холмик оставил, и вход не заложил, погода будет ясная. И не верьте белым, когда они говорят: «По радио передали — надвигается дождь». В первую голову верьте крабам, они лучше знают.

Мама бросила взгляд на мистера Уоттса, который рассмеялся, показывая, что зла не держит.

Дорого бы я дала, чтобы мама заставила себя посмеяться вместе с ним. Но она лишь неприязненно кивнула, показывая, что разговор окончен,

и устремилась в дневное пекло, где щебетали птицы, не вспоминавшие зарезанного пса и обезглавленных кур, которых они видели не далее как утром того же дня.

После уроков полкласса побежало на пляж искать крабов, чтобы проверить правдивость маминого рассказа. Нам попалось несколько незаложенных нор, и мальчишек это убедило, хотя одного взгляда на синее небо было вполне достаточно, чтобы предсказать погоду. На самом деле крабы меня не интересовали. Найдя прутик, я большими буквами нацарапала на песке, выше линии прилива, имя «ПИП». А бороздки выложила белыми сердцевидными семечками.

«Большие надежды» плохи лишь одним: это односторонний разговор. Я не могла в нем участвовать. Иначе я бы поведала Пипу, что моя мама выступила перед нашим классом и что на расстоянии — хотя бы и с одной из задних парт — она показалась мне совсем другой. Более враждебной. Когда она упорствовала, все ее колючки проступали наружу. Казалось, будто сквозняк цепляется за ее кожу. Двигалась она медленно, как большой парус, преодолевающий сопротивление ветра. А на этот раз она вдобавок прятала свою улыбку, и очень жаль, потому что улыбка у нее была

редкой красоты. Иногда по ночам лунный свет выхватывал из темноты ее сверкающие зубы, и я знала, что она улыбается. И эта улыбка говорила, что мама еще не погрузилась в свой взрослый мир, а тем более — в тот потаенный мирок, где она знала себя, как никто другой, и отгораживалась от людей заслоном этих великолепных, сверкающих в лунном свете зубов.

Что бы я ни рассказывала Пипу о маме, он меня не слышал. Мне оставалось только брести за ним по чужой стране, где было место и болотам, и свиному паштету, и людям, которые изъяснялись длинными, не всегда понятными фразами. Бывало, мистер Уоттс дочитывал какой-нибудь отрывок, а мы так и не понимали ни бельмеса и подчас откровенно переключались на гекконов, снующих по потолку. Но стоило ему вернуться к Пипу и заговорить его голосом, как мы все невольно обращались в слух.

Чтение продвигалось, и со мной что-то стало происходить. В какой-то момент я почувствовала, что вросла в повествование. Мне не отводилось в нем никакой роли, ничего такого; на странице меня не было видно, но я находилась там, я определенно находилась там. Я хорошо чувствовала этого белого мальчонку-сироту и тесное, хруп-

кое пространство, где он метался между своей злющей сестрицей и милым Джо Гарджери: точно такое же тесное пространство образовалось между мистером Уоттсом и моей мамой. И я понимала, что мне придется выбирать между ними.

~~~



Набег краснокожих подействовал на людей по-разному. Одни, не таясь, прятали в джунглях запасы съестного. Другие строили планы побега. Размышляли, куда податься и чем жить. А моя мама погрузилась в историю нашего рода и вдалбливала мне все, что знала сама.

Ее рассказ начался с таинственной летучей рыбы. Бесконечная вереница людей, о которых я никогда не слышала, перемежалась морскими богами и черепахами. Имена в одно ухо влетали, а из другого вылетали. Уж очень их было много. Прошло немало времени — во всяком случае, так мне показалось, — прежде чем эта история подошла к концу. Наступило молчание. Из темноты сверкнули белизной мамины зубы.
~~~

— А матерью Лупоглаза, — сказала вдруг мама, — была бронзовая кукушка.

Такую птицу я знала. В свой сезон бронзовые кукушки покидали наши края. Они тянулись в южную сторону, к чужим гнездам. Каждая находила гнездо по себе, выбрасывала из него яйца и подкидывала свои, а потом улетала восвояси. Кукушата росли без матери.

В потемках мама прищелкнула языком. Она считала, что как нельзя точнее описала мистера Уоттса. Ей не дано было увидеть то, что видели мы, дети: его доброту. Она видела только белого человека. А белые люди сманили ее мужа — моего отца. По вине белых закрыли рудник и началась блокада. Правда, от белого человека пошло имя нашего острова. Даже я получила свое имя от белых. А нынче всем стало ясно и другое: мир белых о нас позабыл.

~~~

Накануне Рождества еще двое младенцев умерли от малярии. Мы их схоронили и украсили могилки белыми раковинами и галькой с пляжа. Ночью мы прислушивались к причитаниям несчастных матерей.

Их горе возвращало нас к мыслям о тех бедах, истоки которых мы по молодости лет постичь не могли. Мы знали, что вода в реке больше не пригодна для питья, что медный шлак после сильных дождей впитывается в почву. Рыбаки сетовали, что в открытом море расплывается красноватое пятно, которое уже перетекло за рифы. Одного этого было достаточно, чтобы возненавидеть рудник. Были и другие причины, которые я поняла много позже: грошовое жалованье рудокопов, круговая порука среди краснокожих, которые толпами валили к нам на остров, нанимались в горнорудную компанию и продвигали своих на теплые места.

У нас в деревне кое-кто принимал сторону повстанцев, в том числе и моя мать. Впрочем, подозреваю, что это делалось в пику отцу, кото-
~~~

рый, как она говорила, «жировал» в Таунсвиле. Но по большей части людям хотелось только одного: чтобы закончилась бойня, чтобы вернулись белые и открыли рудник. Люди хотели, как раньше, делать покупки. Хотели зарабатывать, чтобы приносить в дом продукты. Печенье, рис, тушенку, рыбные консервы, сахар. А сейчас наша пища ничем не отличалась от дедовской: батат, ямс, кура, манго, гуава, маниока, орехи, крабы.

Мужчины скучали без пива. Кое-кто гнал брагу. По ночам над деревней неслись пьяные вопли. Мы боялись, как бы дебоширы не привлекли внимание карателей. В темноте я слышала, как мама предает их анафеме за богохульство. Брага туманила им рассудок. Знай они, что завтра настанет конец света, и то не перестали бы сотрясать ночь своей бранью.

Но этой ночью мы услышали совсем другой голос — голос разума. Один-единственный ровный голос заставил умолкнуть пьяные крики. Я этот голос узнала сразу. Он принадлежал отцу Мейбл, незаметному человеку с приплюснутым носом и спокойными, внимательными глазами. Когда Мейбл оказывалась рядом, он, смеясь, дергал ее за косички. И светился счастьем. Видно, была в нем какая-то мощь, потому что он в одиночку вышел к

перепившимся ночным гулякам. Он не повышал голоса, а потому слов мы не разобрали, слышали только плавное течение его речи, и очень скоро, к нашему изумлению, один из пьяниц разрыдался. Вот так-то. Отец Мейбл силой слова превратил хмельного буяна в плачущего ребенка.

На что я надеялась? Если честно, просто надеялась — и все, но по-особенному. Верила, что жизнь может круто перемениться, ведь с Пипом именно так и произошло.

Сначала его пригласила к себе в дом богачка мисс Хэвишем, чтобы он играл в карты с ее воспитанницей Эстеллой. Мне никогда не нравилась Эстелла. Сейчас могу сказать, что я ревновала. Другая обитательница этого дома, хитрая Сара Покет, тоже была мне противна. Я не могла дождаться, когда придет время расставания с мисс Хэвишем.

Из книги мы узнали, как внезапно может перемениться жизнь. Пип уже четвертый год служил подмастерьем у Джо Гарджери. И значит, обогнал меня годами. Но это не имело значения. Он все равно оставался мне другом, товарищем, о котором я тревожилась и много думала. Со временем он станет кузнецом — все к тому шло. *Кузнец.* Еще одно слово, которое нужно было уточнить.

Мистер Уоттс сказал: это больше чем ремесло. Для мистера Диккенса это не просто мастеровой, который изготавливает подковы. Пип усвоил обычаи, из которых складывалась жизнь кузнеца: по вечерам, например, сидел в компании Джо Гарджери и других завсегдатаев у очага в трактире с забавным названием «Три Веселых Матроса», пил эль и слушал всякие россказни.

И вот как-то раз является туда незнакомец и требует к себе Пипа. Это мистер Джеггерс, стряпчий из Лондона. Нам, детям, он казался храбрецом. Не побоялся прийти к чужакам, да еще и пальцем тычет. Желает поговорить с Пипом без свидетелей. Тогда Джо и Пип приводят его домой, и там он объявляет цель своего приезда. У него есть сообщение для Пипа. В жизни мальчика вот-вот должна произойти перемена.

Тут чтение прервалось: мистеру Уоттсу пришлось объяснять значение слова «стряпчий», а потом и «благодетель», что в итоге привело нас к слову «наследник». Сообщение стряпчего заключалось в следующем. Пип оказался наследником большого состояния, но благодетель пожелал остаться неизвестным. На эти деньги предполагалось сделать Пипа джентльменом. Значит, его ожидало превращение — знать бы еще какое.

Услышав это в первый раз, я не могла успокоиться до конца главы. Мне не терпелось узнать, в кого он превратится, чтобы понять, сможем ли мы остаться друзьями. Я совсем не хотела, чтобы он менялся.

Потом мистер Уоттс завел речь о том, что значит быть джентльменом. Хотя слово «джентльмен» можно понимать по-разному, учитель считал, что прежде всего оно подразумевает определенное поведение человека в обществе.

— Джентльмен — это человек, который всегда ведет себя достойно, несмотря ни на что. Даже в самых тягостных и трудных обстоятельствах.

Кристофер Нутуа поднял руку.

— А бедняк может быть джентльменом? — спросил он.

— Разумеется, может, — ответил мистер Уоттс.

Обычно он терпимо относился к нашим вопросам, даже самым глупым, но этот вывел его из себя.

— Деньги и положение здесь ни при чем. Мы говорим о человеческих качествах. И эти качества нетрудно распознать. Джентльмен всегда сохраняет достоинство.

Мы уловили общий смысл и поняли, что он соответствует личным убеждениям мистера

Уоттса. Учитель обвел глазами класс. Поскольку вопросов больше не было, он продолжил чтение, и я стала слушать с особым вниманием.

На Пипа свалилось целое состояние, и теперь он должен был оставить все, к чему привык, — болотистый край, злющую сестру, немногословного добряка Джо, кузницу, — чтобы перебраться в большой, незнакомый город под названием Лондон.

Я уже понимала, какое важное место в книге занимает кузница. Кузница — это родное: она кует очертания жизни. Очертания моей жизни ковали тропинки в зарослях, горы, что высились над нами, море, которое порой от нас уходило, и густой запах крови, стоявший у меня в ноздрях с того дня, когда я увидела Черныша со вспоротым брюхом. Палящее солнце. Съедобные плоды, рыба, орехи. Ночные звуки. Зловоние выгребных ям. И высокие деревья, которым, похоже, иногда хотелось от нас уйти вслед за морем. И джунгли, не позволявшие забыть, как мы ничтожны в сравнении с гигантскими деревьями, которые жадно тянулись кронами к солнечному свету. И смех женщин, полоскавших белье в ручье. Их шутки и подтрунивание над девушками, застуканными за тайной стиркой подкладной ветоши.

И страх, и потери.

После уроков я невольно задумалась, как живется моему отцу и что с ним сталось. Можно ли считать его джентльменом и, если да, не позабыл ли он, что его таким сделало. Помнит ли меня, вспоминает ли хоть изредка маму. Ворочается ли ночью без сна, как мама, думая о нашей семье.

Я смотрела, как мама стирает наши вещи в горном ручье. Она выбивала грязь на гладком валуне, потом выполаскивала измученное полотно, встряхивала и пускала по течению.

Держалась я поодаль. Как могла, наказывала ее за то, что она надерзила мистеру Уоттсу. А потом я придумала другой способ ей досадить. Сверля глазами ее затылок, спросила, скучает ли она по отцу. Я ожидала, что она полоснет меня через плечо сердитым взглядом. Но нет. Просто ее руки заработали еще быстрее. И плечи.

— Почему ты спрашиваешь, дочка?

Я пожала плечами, но она, конечно же, этого не видела. Между нами опять готово было повиснуть молчание.

— Иногда, — продолжила она. — Иногда поднимаю глаза и вижу джунгли, а в них — твоего отца, Матильда. И он шагает ко мне.

— А ко мне?

Уронив белье, мама обернулась.

— И к тебе. Да. Твой отец шагает навстречу нам обеим. А потом приходят воспоминания.

— Какие?

— Да всякие, — ответила она. — Ненужные. Но коли ты спросила, вспоминается мне то время, когда отец еще работал на руднике и угодил под суд за нарушение общественного порядка.

Я впервые услышала такие подробности, но мамин тон говорил, что это не столь уж большой грех — всяко лучше, чем забыть привезти ей подарок из Аравы. Что под суд угодить, что подарок забыть. Мама хотела, чтобы я думала только так и не иначе. Чтобы верила ей. Но я не поверила. Лучше бы она промолчала. Но этим дело не кончилось.

— Помню, какое у него лицо было: виноватое, от стыда горело, — продолжила мама. — Будто он Бога молил: прости меня, Господи. Смилуйся. Помню, тогда в суде глянула я в окно и вижу: самолет взмывает, за ним белая полоска тянется — и тут с пальмы кокос падает, прямо за окном. Я даже растерялась — куда смотреть-то: один вверх летит, другой вниз.

Вскочив с колен, мама повернулась ко мне:

— Раз уж ты завела этот разговор, Матильда. Я

и сама не понимала: на дурного человека гляжу или на того, кто меня любит.

Я услышала больше, чем хотела. Это был взрослый разговор. А поскольку мама не сводила с меня испытующего взгляда, я поняла, что она читает мои мысли.

— Я и по морским конькам скучаю, — сказала она чуть веселее. — Ни у кого нет во взгляде такой мудрости, как у морского конька. Это чистая правда. Я ее открыла в твоем возрасте, даже раньше. А рыбы-попугаи, как я поняла, тоже непросты. Они сотнями на тебя глядят и припоминают, какой ты была вчера и какой — третьего дня.

— Неправда. — Я даже засмеялась.

— Ну почему же, — сказала она. — Чистая правда.

Мама задержала дыхание, я тоже, и она расхохоталась первой.

Познакомившись с мисс Хэвишем и узнав про ее горькую судьбу, я перестала сравнивать мою маму с сестрой Пипа. Мама скорее напоминала Хэвишем (то есть мисс Хэвишем), которая не в силах забыть тот день, когда она горько обманулась в своих надеждах. Часы в ее доме показывают точное время, когда должен был приехать ее жених. Свадебный пирог, окутанный паутиной,

так и стоит нетронутым. Мисс Хэвишем никогда не снимает свой подвенечный наряд, будто еще ждет события, которому не суждено свершиться. Вот и мама, по-моему, точно так же застыла в прошлом. Когда повздорила с отцом. Она выдавала себя вечной мрачностью. Мрачностью, которая осталась после той ссоры. Мне даже казалось, что у нее в ушах все время звучат папины слова.

~~~



Никто так не выделяется, как белый человек, живущий среди черных. Но мистер Уоттс, как я считала, выделялся не только этим. Он подарил нам Пипа, и я приняла этого Пипа как обычного мальчика, чье дыхание чувствовала щекой. Я научилась заглядывать в чужие души. И теперь силилась понять мистера Уоттса.

Я разглядывала его лицо, прислушивалась к его голосу и пыталась узнать, как работает его ум и каков ход его мыслей. О чем думал мистер Уоттс, когда наши матери и отцы, дяди и тети, а иногда старшие братья и сестры приходили на урок, чтобы поделиться своими знаниями о мире? Когда наш гость рассказывал какую-нибудь историю, курьезный случай, а то и свои домыслы, мистер
~~~

Уоттс предпочитал держаться в стороне.

А мы не сводили с него глаз: ждали, не подаст ли он виду, что рассказчик мелет чепуху. Никаких признаков этого на его лице не бывало. Оно выражало только уважительный интерес, даже когда старая, сгорбленная бабушка Дэниела, опираясь на две клюки, долго оглядывала класс подслеповатыми глазами.

— Есть такая страна, зовется Египет, — начала она. — Да только я о той стране ничегошеньки не знаю. А так бы рассказала вам про Египет. Уж не обессудьте — слышала звон, да не знаю, где он. Но коли согласитесь меня послушать, деточки, расскажу вам про синеву.

И мы стали слушать про синеву.

Синий — это цвет Тихого океана. Цвет воздуха, которым мы дышим. Синева глядит в любой просвет: между пальмами, между жестяными крышами. Кабы не синий цвет, не видали бы мы летучих мышей-крыланов. Слава богу, что есть у нас синева.

— Где только не является нам синева, — продолжала бабушка Дэниела. — Ищите и обрящете. Будете на причале в Киете — загляните в трещины меж досок. Знаете, чем она там занимается? Вылавливает протухшие рыбьи потроха и уно-

сит восвояси. Если б могла синева принимать обличье растения, зверя или птицы, она бы оборотилась чайкой. Потому что всюду норовит сунуть свой цепкий клюв. А еще есть у синевы волшебная сила, — продолжала старушка. — Поглядите на любой риф и поймете, что я не лгу. Синева разбивается о рифы и выпускает на волю — какой цвет? Белый! Как это у нее получается?

Наши взгляды обратились за ответом к мистеру Уоттсу, но он сделал вид, будто не замечает. Присев на краешек стола и сложив руки на груди, он весь обратился в слух и внимал только рассказу бабушки Дэниела. Мало-помалу и мы вновь переключились на сухонькую старушку с темными от бетеля губами.

— А напоследок… уж дослушайте, деточки, скоро я вас отпущу… Синева принадлежит небесам, и никому ее не украсть, потому-то миссионеры издавна стеклили синим окна храмов, что возводились у нас на острове.

Мистер Уоттс, по обыкновению, широко распахнул глаза, как будто прогоняя остатки сна. Он подошел к бабушке Дэниела, протягивая ей руку. Старушка дала ему взяться за свою ладонь, а затем он повернулся к классу:

— Сегодня нам очень повезло. Очень. Мы по-

лучили своевременное напоминание о том, что, вероятно, не знаем всего мира, но силой своего воображения можем создавать его заново. Можем создавать его из тех вещей, которые видим и находим вокруг. Нужно просто смотреть на мир творчески, как это делает бабушка Дэниела. — Мистер Уоттс положил руку ей на плечо. — Спасибо, — сказал он. — Большое вам спасибо.

Бабушка Дэниела расплылась в улыбке, и мы увидели, что зубов у нее — раз-два и обчелся, потому-то она и говорила с присвистом.

Из некоторых гостей школы мистеру Уоттсу приходилось буквально вытягивать то, что они знали; порой вытянуть удавалось сущие крохи.

Хозяйка пса Черныша — звали ее Жизель — робко потупилась. Когда она в конце концов заговорила, мистер Уоттс был вынужден склониться к ней и повторять ее слова во всеуслышанье; рассказ ее был о ветре:

— На других островах ветрам дают прекрасные имена. Мой любимый ветер называют «нежным, как женщина».

Дядя Гилберта, здоровенный, круглый, как металлическая бочка, и черный, как нефть со дна моря, пришел поговорить с нами о «разбитых

снах».

Он сказал, что разбитые сны можно увидеть на причале.

— Гляньте на пойманную рыбу: глаза выпучены, рот раскрыт. Дивится, что уснула на суше, а в море путь ей заказан.

Он умолк и покосился на мистера Уоттса, как будто спрашивая: так годится? Мистер Уоттс кивнул, и дядя Гилберта продолжил:

— По ночам собаки с петухами, будь они неладны, подстерегают наши сны и разбивают их надвое. Одно хорошо: разбитый сон можно поднять за краешки да связать заново. Кстати, рыбы попадают в рай. А кто другое вам скажет, тот брехун, ему веры нет.

Переминаясь с одной босой ноги на другую, он нервно стрельнул глазами на мистера Уоттса, а потом опять на нас.

— Вот покамест и все, — объявил он.

Чего только мы не услышали: что есть такой остров, на котором детей сажают в каменный челнок и заставляют учить наизусть священные морские заклинания. Что есть песни, которые исцеляют не хуже лекарства. Споешь — и нарыв как рукой снимет, и от икоты избавишься. Споешь — и апельсиновое деревце в рост пойдет. А

от иных песен даже раны и ожоги заживут.

Узнали мы кое-что и о народных снадобьях: например, болячки на коже лечатся листьями белой лилии. А еще есть такие шершавые, длинные листья, которые спасают от ушной боли. Из листьев другого растения можно выдавить сок и пить при поносах. Отвар из морских ежей следует давать первородящим матерям, чтобы остановить кровотечение.

Одни рассказы помогают в поисках истины и счастья. Другие учат не повторять прежних ошибок. А эти рассказы поучительны. Почаще заглядывайте в Писание.

— В молодости, — начала тетя одной из наших девчонок, Вайолет, — отправилась я в гости к деду на соседний остров. Но деда в живых не застала. Тогда пошла я в тюрьму и добилась свидания с последним из жителей, который знал совет: как потопить своего врага в море. Для начала двенадцать часов постишься, потом идешь в джунгли и отыскиваешь заветную травинку. Садишься в лодку, гребешь к рифам, о которые разбивается прибой, и произносишь священное заклинание во славу необъятных морей. Потом бросаешь травинку в воду. Возвращаешься на берег, обмазываешь себя сажей, рисуешь мелом

круги на висках и под ноздрями и тем же мелом проводишь широкую полосу от пупа до подбородка. А под конец красишь губы яркой охрой и снова плывешь к рифам. К тому времени пахучий лист уже накликал бурю. Произносишь второе заклинание, чтобы выпустить на волю разрушительные силы. Возвращаешься в хижину, ложишься спать. Остаются еще кое-какие дела, но самое основное я сказала. Ночью тебе должен присниться сон, будто твое второе «я» вселилось в акулу. Вот. А потом должно присниться, что волны перевернули лодку и враг твой сгинул. Тут твое второе «я» воротится назад и переселится из акулы в твое спящее тело.

А одна старуха встала перед всем классом да как закричит:

— Вставайте, бездельники! Поднимайте свои задницы и ступайте за птицами к рыбным местам.

Это была всем известная присказка.

Женщина по имени Мэй рассказала историю о птице фрегат, которая давным-давно принесла ей на день рождения поздравительную открытку с соседнего острова. Открытка была вложена в старую коробочку из-под зубной пасты, привязанную у птицы под крылом. Мэй исполнялось в

тот день восемь лет, и большой фрегат как будто об этом знал, потому что, со слов рассказчицы, он стоял рядом с ее родителями и наблюдал, как она читает поздравление, а когда она дошла до слов «С днем рожденья, Мэй», все захлопали в ладоши, и именинница своими глазами увидела, как птица заулыбалась.

— А на другой день у нас был праздничный обед, и мы ее съели.

От этих слов мистер Уоттс дернул головой и вмиг ссутулился. По-моему, он был потрясен. Мэй, наверное, и сама это заметила, потому что она добавила: хорошо, мол, что птица этого не узнала.

Мы все испытали неловкость, которая передалась нам от мистера Уоттса.

Еще одна женщина, которая ходила вместе с моей мамой на совместные молитвы, решила преподать нам урок приличий.

— Главный признак хорошего воспитания — это умение хранить тишину, — начала она. — Впору моего детства тишина доставалась нам урывками, когда пустобрехи-псы, горластые петухи и трескучие генераторы наконец умолкали. Чаще всего мы, дети, не знали, как ею распорядиться. Иногда по неведению равняли тишину со скукой. Однако во многих случаях тишина необходима:

например, когда тебе надо выспаться или побыть наедине с Богом, поразмышлять о Священном Писании. А от нарушителей тишины, — тут она погрозила пальцем всем девочкам, — держитесь подальше. У горлопанов-мальчишек грязные душонки. Мужчина, который ладит парус и слушает ветер, знает цену тишине; скорей всего, он и Бога чувствует глубже. Других советов я девочкам давать не стану.

Агнес Харипа подготовила беседу об отношениях полов и начала ее с улыбки. Пока весь класс не ответил ей улыбкой, она молчала. Гилберт сообразил не сразу, и она продолжала терпеливо ему улыбаться, пока не вмешался мистер Уоттс, который попросил Гилберта откликнуться. Чтобы ему было понятнее, мистер Уоттс тоже изобразил улыбку.

— А, ясно, — сказал Гилберт, и миссис Харипа смогла продолжить свою беседу.

— Я хочу сегодня поговорить о том, чему нас могут научить плоды личи, — сказала она. — Сладкое нельзя выставлять напоказ.

Она продемонстрировала всем пупырчатый плод, словно диковинку. Мы и так знали, что у личи тонкая, но твердая кожура. Счищаешь ее и впиваешься зубами в сочную, бугристую мякоть

с привкусом миндаля.

— Сладкая улыбка, — продолжила Агнес, — еще не показывает, какая у человека сердцевина. Улыбка может ввести в заблуждение. Чтобы сохранить свою сладость, нужно защищаться. Девочки, защищайте свою сладость от мальчишек. Посмотрите на личи. Разве сохранили бы они сладость, кабы подставляли свою мякоть солнцу, дождям и ненасытным собакам?

Мы заинтересовались. Понимая, чего от нас ожидают, мы хором протянули:

— Нет, миссис Харипа.

— Верно, — согласилась она. — Плоды бы засохли и сморщились. Утратили бы свою сладость; хорошо, что самая вкусная часть личи защищена твердой кожурой. Все это знают, но никто не спрашивает, почему так устроено. Вот вам и ответ, дети мои.

Она вновь прошлась взглядом по нашим лицам. Высматривала смутьяна, который полезет с вопросами. В вопросах нет ничего дурного, если знаешь, из чего они выросли. Из бесхитростного любопытства или из желания сбить тебя с толку? Миссис Харипа дружила с моей мамой. Они вместе ходили молиться.

— Вопросов, очевидно, не будет, миссис Хари-

па, — сказал ко всеобщему облегчению мистер Уоттс. — Однако, если позволите, ваша беседа о сохранении невинности глубоко меня тронула.

Миссис Харипа сверкнула глазами в сторону мистера Уоттса. Заподозрила, что белый человек над ней насмехается. Что скрывала его улыбка? Какой-нибудь подвох — чего еще ждать от белого? А ведь ученики назубок знали все его маски. Не зря же они зубы скалят? Лучше бы она рассказала, как использовать в хозяйстве маниоку или куриные перья.

Я так злорадствовала при виде ее смятения, что не сразу заметила поднятую бровь мистера Уоттса: это был знак мне встать и поблагодарить миссис Харипу.

Ученики из вежливости похлопали в ладоши; миссис Харипа радостно закивала. Мы тоже были за нее рады. Нам нравилось слушать рассказы наших двоюродных братьев и сестер, матерей и бабушек. Зачем их отпугивать? Мы и так знали, что многих одолевала застенчивость и боязнь показаться глупыми, а потому они не решались появляться в школе; кое-кто уже ступал на расчищенную поляну и тут ни с того ни с сего поддавался сомнению. Терзаемый неуверенностью, такой человек не мог заставить себя подойти

ближе, потому что начинал гадать, нужна ли кому-нибудь его история про геккона. Нам не раз доводилось видеть за окном спину какого-нибудь бедолаги, удирающего в спасительные заросли.

Тетя моей одноклассницы Мейбл пришла с домотканым ковриком. Хотела поговорить о «путях» и «удаче».

— Тканое полотно может кое о чем поведать, — сказала она. — Этот коврик, что помогает не заблудиться во сне, выткала для меня бабушка. Всего-то и нужно перекатиться на другой бок и нащупать выпуклую полоску. Эта полоска — река, что всегда вынесет к дому. А еще бабушка рассказывала историю о девушке, которая носила в себе знания о прибоях и морских течениях. Потом бабушка придумала песню о разных путях, открытых для человека. Такой же коврик, как у меня, получила и моя племянница. Чтобы она не заблудилась, ей дали наказ: петь всю дорогу от аэропорта до дома ее другой тетки, живущей в Брисбене. Как мне потом рассказали, петь она не пела, а коврик забыла в уборной. Так что тетке с выводком детишек пришлось самой тащиться в аэропорт.

Даже моя мама пришла повторно и рассказала такое, чего я никогда от нее не слышала. Мистер

Уоттс расположился позади нее. Думаю, ему было не по себе. Он ерзал и не мог смотреть в одну точку.

— Женщинам никогда не разрешалось выходить в море — никогда! — гаркнула мама. — Почему? Я вам скажу почему, хоть это ясно как день. Женщины — слишком большая ценность. Вот так-то. В море выходили мужики. А уйдет женщина — что из этого получится? Не будет ни детей, ни еды на столе, ни шарканья веника. Да на острове все перемрут с голодухи. Но порой — это я знаю от своей тетки Жозефины — случается увидеть девушку, которая следит за полетом морской птицы, стоя на рифе; можно не сомневаться: она потеряла невинность и замышляет отправиться в ближайший город белых. Вот так-то, девочки: захотите полюбоваться морскими птицами — стойте на берегу, а то вам несдобровать!

~~~

Возвращение к «Большим надеждам» всегда было для нас благом. Книжный мир, не в пример нашему, выглядел цельным и осмысленным. Если это было благом для нас, то что же говорить про мистера Уоттса? Я уверена, что в мире мистера Диккенса он чувствовал себя куда уютней, чем в нашем чернокожем мире предрассудков и таинственных летучих рыб. «Большие надежды» возвращали его к белым. Во время чтения он иногда улыбался своим мыслям, а мы не понимали, что в этом месте забавного; в таких случаях мы раз от раза вспоминали, что до конца не понимаем мистера Уоттса, потому что не знаем тех краев, откуда он родом, и задавались вопросом: что же он оставил позади, когда поселился с Грейс на острове?

Подходя к учительскому столу, я пыталась не заглядывать слишком уж откровенно в лежащую на нем книгу. Хотя мне до смерти хотелось взять ее в руки, посмотреть, что там написано, и найти на странице имя Пипа. Но я ничем себя не выдавала. Не хотела выставлять напоказ са-
~~~

мое сокровенное, а может, и постыдное. У меня в голове прочно засел урок миссис Харипы про сладкие плоды личи.

После занятий мистер Уоттс от нас не прятался. Иногда он прохаживался с корзиной под деревьями и собирал плоды. Родители учеников посылали ему и его жене угощение в благодарность за то, что он ежедневно вдалбливал знания в наши пустые головы. Отец Гилберта всегда оставлял для мистера Уоттса немного рыбы.

В белом льняном костюме, подобающем «джентльмену», мистер Уоттс появлялся только на уроках; по большей части именно таким мы его и видели. Встречая его на пляже в мешковатых старых шортах, мы не понимали, что стряслось с нашим учителем. В глаза бросалась жуткая худоба, которая не то иссушила его в одночасье, не то прежде оставалась незамеченной, и это наблюдение было сродни открытию, но какому — я точно не знала. Он смахивал на тонкий побег белой лозы. Видя его сгорбленную спину, мы начинали понимать, каких усилий стоило ему надевать костюм и стоять перед нами, вытянувшись в полный рост. Впрочем, на пляже он был как все. Опустив голову, высматривал, не выбросило ли море чего-нибудь полезного.

На нем была ветхая белая сорочка, которую он, как ни странно, носил нараспашку; но, что еще удивительнее, при ближайшем рассмотрении я не обнаружила на ней ни одной пуговицы.

Набрав целую корзинку раковин-каури, чтобы выложить их рядами вдоль сердцевидных семечек и сделать имя «ПИП» еще заметней, я увидела мистера Уоттса. Он прервал свои поиски и направился ко мне по песку от кромки прибоя.

— Святилище, — одобрительно произнес учитель. — Пип Тихоокеанский. — Он задумался. — Как знать, не исключено, что его заносило в эти края. В романе жизнь Пипа рассказана не до конца. «Большие надежды» завершаются тем, что…

Тут я зажала уши ладонями, и мистер Уоттс, видя это, умолк. Я не хотела забегать вперед. Мне интересно было узнать обо всем из книги. Не опережая событий. Так, чтобы не перескакивать через главы.

— Ты совершенно права, Матильда, — сказал он. — Всему свое время…

Он хотел добавить что-то еще, но его лицо исказила острая боль. Мне даже показалось, что он выругался. Правда, совсем тихо. А скорее всего, я ослышалась и понапрасну вспыхнула

от смущения. Едва удерживая равновесие, он поднял правую ступню до уровня бедра и стал разглядывать. Оказалось, что у него на большом пальце содран ноготь, который теперь держался буквально на ниточке. Мистер Уоттс приподнял ноготь.

— Наверное, скоро отвалится, — сказал он, глядя вместе со мной на обнажившуюся розовую ссадину. — Есть какие-то вещи, с которыми человек и не помышляет расстаться — считает, что они всегда будут при нем, даже если это простой ноготь.

— Не простой, а большой, — уточнила я.

— И то верно, — сказал он. — Не простой.

— А что будет, когда он отвалится?

— Думаю, новый отрастет.

— Тогда ладно, — успокоилась я. — Вы ничего не потеряли.

— Не считая одного уникального ногтя, — сказал он. — Это как дом, как страна. Двух одинаковых не бывает. Где-то теряешь, где-то находишь.

Взгляд мистера Уоттса устремился в пространство, как будто все его потери уплыли в море и тянулись вдоль горизонта. Телевидение. Кино. Автомобили. Друзья. Родные. Консервы. Магазины.

Мне подвернулась возможность спросить, не скучает ли он но белым людям и что, с его точки зрения, он приобрел, отказавшись покинуть остров. Не жалеет ли о своем решении?

Естественно, мне не хватило духу. Впервые мы с мистером Уоттсом разговаривали с глазу на глаз, и я оробела перед его почтенным возрастом и белым цветом кожи. Кроме того, излюбленную тему наших бесед составляли отнюдь не наши персоны, а мистер Диккенс, и я поспешила перевести разговор со сбитого ногтя (каким-то боком связанного со страной и домом) на «Большие надежды». Вопросов к мистеру Уоттсу накопилось немало. Меня тревожила перемена, которую я заметила в характере Пипа. Мне совершенно не нравились его лондонские знакомцы. Я так и не прониклась добрыми чувствами к Герберту Покету и не могла понять, что находит в нем Пип, оставляя меня не у дел. И как понять, для чего он стал зваться Генделем?

Мистер Уоттс опустился подле меня на песок. Опершись на ладони, он с прищуром смотрел на сверкающее море.

— Попытаюсь объяснить, Матильда. Я вижу это следующим образом; не утверждаю, что моя точка зрения единственно верная, но мой ответ

таков. Пип — сирота. Это все равно что эмигрант. Он сейчас находится в процессе перехода из одного слоя общества в другой. А перемена имени сродни перемене гардероба. Она ему поможет.

Я понятия не имела, кто такой «эмигрант». Но расспрашивать сейчас было рискованно. Мистер Уоттс обращался ко мне как к единомышленнице. Оно, конечно, лестно, но и страшновато. Я не хотела его разочаровать. Боялась ляпнуть какую-нибудь глупость, которая могла пошатнуть его веру в меня. Поэтому я перешла к следующему вопросу, не дававшему мне покоя.

Приехав в родные края из Лондона, Пип избегает Джо Гарджери. Все его помыслы только о том, чтобы повидаться с Эстеллой. В его намерения не входит навестить беднягу Джо. И что еще хуже, когда Джо приезжает к нему в Лондон, Пип смотрит на своего верного старого друга-кузнеца сверху вниз.

С одобрения мистера Уоттса я говорила свободно и радовалась, что сделала важные наблюдения, хотя мистер Уоттс, похоже, от них слегка утомился.

— Человеку трудно во всем оставаться безупречным, Матильда, — пояснил он. — А Пип — всего лишь человек. Судьба дала ему шанс стать тем,

кем он только пожелает. Он волен делать свой выбор. Он волен даже делать неправильный выбор.

— Например, выбрать Эстеллу.

— Ты ее недолюбливаешь?

— Она злая.

— Это так, — сказал он. — Но со временем мы узнаем почему.

Опять мне показалось, что он вот-вот скажет что-то еще, но он осекся и вернулся к своим мыслям. Незачем было торопить события. Ведь у нас была целая вечность. А кто в этом сомневался, тому достаточно было взглянуть на море.

Мистер Уоттс как сел на песок, так и сидел. Теперь мне представился случай увидеть, как тяжело он встает. Выпрямившись, он пришел в раздражение оттого, что забыл прихватить ведерко. Некоторое время смотрел на него с высоты своего роста. Мне ничего не стоило подать ему ведерко, но раздражение учителя меня останавливало. Трудно ли нагнуться за какой пластмассовой посудиной? Между тем мистер Уоттс уперся свободной рукой в бедро, стал наклоняться, и лицо его побагровело от напряжения. На миг он превратился в Лупоглаза. Однако, распрямив спину, он тут же принял облик нашего

школьного мистера Уоттса. Потер себе поясницу, разгоняя боль, и оглядел пляж.

— Ну ладно, — сказал он. — Кажется, миссис Уоттс меня зовет.

Я смотрела, как он удаляется с пластиковым ведром в руке, и понимала, что лет ему гораздо больше, чем я думала. За льняным костюмом и учительской выправкой скрывалась немощь. Вдруг он обернулся, будто не мог решить, как со мной обойтись. И окликнул:

— Матильда! Ты секреты хранить умеешь?

— Умею, — выпалила я.

— Ты спрашивала, почему Пип стал Генделем.

— Да, — подтвердила я.

Мистер Уоттс вернулся туда, где я все еще сидела на песке. Приложив ладонь козырьком, он окинул взглядом сначала один конец пляжа, потом другой. Когда его глаза скользнули по мне, я уловила в них досаду на то, что разговор затягивается. Но отступать ему было некуда.

— Ты должна понимать. Я открою тебе секрет, Матильда.

— Понимаю, — ответила я.

— Мою жену зовут вовсе не Грейс, — начал он. — Здесь, разумеется, все называют ее именно так, но она отказалась от этого имени. Теперь ее

зовут Шеба. Это давняя история, тебя тогда еще на свете не было. В силу, так сказать, определенных обстоятельств, почувствовав необходимость переменить свою жизнь, она взяла себе имя Шеба. После всех испытаний, выпавших на ее долю, я думал — точнее, надеялся, — что имя к ней прирастет. Такое ведь не редкость. Если мы знаем, что неуклюжая земноводная копуша с панцирем зовется черепахой, по-другому ее и не назовешь. Точно так же кошка — всегда кошка. Невозможно представить, чтобы собака вдруг стала зваться не собакой, а как-то иначе. Вот я и понадеялся, что Шеба всегда будет Шебой, срастется со своим именем.

Он задержал на мне пристальный взгляд. Наверное, хотел удостовериться, что я буду держать язык за зубами. Опасения его были напрасны. Но сейчас все мои мысли занимало имя Шеба. Пусть к собаке на веки вечные приросло имя собака, а к черепахе — черепаха, но что я должна думать об имени Шеба?

— Вот так-то, Матильда. Теперь ты знаешь нечто такое, чего не знает ни одна живая душа на этом острове.

По его тону я почувствовала, что ему сейчас не по себе. Он выжидал, как будто желая что-то

услышать в ответ. Но у меня не было секрета, которым я могла бы поделиться.

— Тогда до встречи, — сказал он.

Подмигнул мне и ушел.

~~~



До ближайшей деревни было восемь километров по берегу. Новости долетали до нас со всего острова. Сквозь джунгли, через горные перевалы. Вот только добрые вести закончились. Совсем. К нам приходили жуткие известия. Мы отказывались им верить. Будто бы на те деревни, что помогали повстанцам, обрушились жестокие гонения. Маленькие дети бегали и рассказывали, что людей сбрасывают из вертолетов прямо на верхушки деревьев. По недомыслию они решили, что это новая забава, и были не прочь испытать ее на себе. По детской болтовне можно было судить, как развязались языки у наших родителей. Но самое страшное от нас все же скрывали. То, что было не предназначено для наших ушей,
~~~

читалось на обеспокоенных лицах родителей. И мы невольно вспоминали, как пес Черныш с распоротым брюхом лежал под палящим солнцем. Молитвенные собрания, которые посещала моя мама, становились все более многолюдными. Господь нам поможет. Надо только молиться. Получалось, что молитва — как щекотка. Рано или поздно Бог должен был посмотреть вниз и разобраться, чем его щекочут снизу.

Вечерами мама хранила тревожное молчание. Она мысленно отстраняла от себя дурные вести, чтобы освободить место для Бога. Как-то она спросила, несет ли нам Лупоглаз Слово Божье.

— Мистер Уоттс не носит с собой Библию, — сказала я.

Ответ повис в воздухе как предательская угроза нашей безопасности. Вслед за тем мама обратилась к другому своему пристрастию: начала экзаменовать меня по истории нашего рода, заставляя вспоминать имена предков, рыб и птиц из нашего фамильного древа.

Экзамен я с треском провалила. У меня не было никаких зацепок, чтобы упомнить предков, хотя персонажи романа «Большие надежды» запоминались крепко-накрепко благодаря своим голосам. Они делились со мной своими мыслями,

а порой, когда мистер Уоттс читал нам вслух, я даже видела их лица. Пип, мисс Хэвишем, Джо Гарджери были мне куда ближе, чем покойные родственники, да и здравствующие тоже — я ведь их в глаза не видела.

Маму не остановили мои многочисленные пробелы в знаниях. Она велела мне прочистить уши. Объявила, что мое сердце достойно жалости. У моего сердца, сказала она, выбор друзей небогат. Она изводила меня зубрежкой. Стояла над душой. Устраивала проверку за проверкой, но все напрасно. Тогда она зашла с другого боку. Подозреваю, на берегу ей попалось на глаза имя «ПИП», потому что однажды вечером, после моего очередного позора, она велела мне начертать на песке имена из нашего семейного древа.

На другой день я так и сделала; мама пришла с проверкой. Она сильно рассердилась, увидев рядом с именами наших родственников имя Пипа. Даже дернула меня за волосы.

Что на меня нашло — сама не знаю. Зачем я выставила себя дурочкой? К чему было включать имя вымышленного персонажа в список родни? Я-то знала ответы. Я точно знала, зачем так поступила. Но хватило ли у меня смелости отстоять свои убеждения? Опыт подсказывал: если даже я

правильно отвечу на четыре пятых всех вопросов, мама непременно придерется к ошибкам. В конце концов мой язык не выдержал и развязался. А я только диву давалась: откуда у меня такая дерзость? Вот скажи, потребовала я, что ценнее: случайные и ничем не подтвержденные сведения о покойных родичах или же подробная и полная история одного человека, пусть вымышленного, такого как Пип?

Мама уничтожила меня ненавидящим взглядом. Вначале она даже ничего не ответила. Как видно, боялась раскрыть рот, чтобы не выплеснуть свою злобу. Я ждала оплеухи. Но вместо этого она принялась неистово взрывать ногой песок вокруг имени «ПИП». Когда от букв не осталось и следа, мама еще пнула воздух над тем местом, где только что было имя.

— Он нам не кровный родственник! — рявкнула она.

Допустим… Пип нам не родственник, продолжила я, но он для меня ближе все тех, чьи имена мне было приказано написать на песке. Мама хотела услышать совсем другое. Она уже нашла виноватого. Ее взгляд скользнул вдоль пляжа в направлении бывшего миссионерского дома.

На другой день Мейбл подняла руку и спросила,

верит ли мистер Уоттс в Бога.

Воздев глаза кверху, мистер Уоттс обшарил взглядом потолок.

— Сложный вопрос, — вздохнул он. — Из числа тех, о которых я вас предупреждал.

Он вертел в руках книгу. Хотел найти то место, где мы остановились, но мыслями был далеко.

Тогда руку поднял Гилберт:

— А в дьявола?

Губы мистера Уоттса тронула едва заметная улыбка, а мне стало неловко и за одноклассников, и за учителя, который явно догадался, откуда берутся такие вопросы.

— Нет, — ответил он. — В дьявола точно не верю.

Маме я бы никогда в жизни этого не рассказала. Я же не дура. Но кто-то из ребят наверняка проболтался, и в тот же вечер молитвенное собрание заклеймило мистера Уоттса как еретика.

На следующее утро, когда мистер Уоттс собирался приступить к чтению, в класс ворвалась моя мама. На голове у нее был все тот же зеленый платок. Только теперь я поняла, почему она с ним не расставалась. Он придавал ей воинственный вид. Из-под своих тяжелых век мама враждебно глянула на мистера Уоттса и на мгновенье помед-

лила, заметив у него в руках «Большие надежды». Я испугалась, что она сейчас выхватит книгу и вобьет в нее кол. Но она только набрала полную грудь воздуха и объявила учителю, что имеет кое-какие информации (она всегда так говорила: «кое-какие информации»), которыми желает поделиться с учениками.

Мистер Уоттс вежливо закрыл «Большие надежды». Воспитанность была у него в крови. Он жестом предоставил маме слово, и она начала.

— Есть среди белых умники, которые не верят ни в Бога, ни в черта, — изрекла она, — потому как считают, что это необязательно. Вы удивитесь, но есть среди белых такие, кто считает, что достаточно поглядеть в окно — и можно не брать с собой в дорогу плащ. Перед тем как выйти в море, белый всегда убедится, что у него в лодке есть спасательный жилет, а бак заправлен под завязку, но ему не приходит в голову убедиться в прочности своей веры, которая точно так же дает защиту от житейских невзгод.

Она раскачивалась из стороны в сторону. Никогда раньше я не замечала в ней такой надменности.

— Взять хотя бы мистера Уоттса: он полагает, что ко всему готов. Но если это так, то человек,

застреленный краснокожими, наверное, удивляется, как это он вовремя не заметил вертолет. Итак. Наказ всем нашим, в том числе и моему прекрасному цветку, Матильде: всегда носите в себе заветы Писания. Только так вы сможете спасти мистера Уоттса, ибо я к его спасению руку не приложу.

Мы все как один уставились на мистера Уоттса, чтобы понять, не обиделся ли он. К нашей радости, он только улыбался за спиной у моей мамы. А она, заметив, что ученики тоже заулыбались, пришла в бешенство. Я сгорала от стыда за ее речи, но при этом знала, что ее злость никак не связана с набожностью мистера Уоттса или с ее отсутствием. Мамина кровь кипела оттого, что какой-то белый мальчишка, Пип, занял главное место в моей жизни. А виноват в этом, по ее мнению, был не кто иной, как мистер Уоттс. Если она вознамерилась оскорбить нашего учителя и прижать его к ногтю, то из этой затеи, судя по его улыбке, ничего не вышло.

— Долорес, вы в очередной раз дали нам пищу для размышлений, — сказал мистер Уоттс.

Мама подозрительно зыркнула в его сторону. Я знала: до нее не доходит, что это за «пища». Наверное, она опасалась, что белый исподтишка

бросил ей в лицо какое-то оскорбление. А если так, что подумают о ней дети?

— Это еще не все, — сказала мама.

Мистер Уоттс любезно дал ей возможность продолжить, а я вжалась в парту.

— Хочу поговорить о косичках, — объявила она и, к моему ужасу, стала обращаться ко мне одной. — Матильда, твоя бабушка в молодости заплетала себе множество косичек, и были эти косички толстые, как жгуты. Да такие крепкие, что детьми мы на них качались.

По классу прокатились смешки, которые — о счастье! — отвлекли от меня мамино внимание.

Правда-правда. Во время прилива мы держались за конец такой косички, чтобы не запнуться о коралловую ветку. Материны косички были длинные-предлинные; мы, дети, набьемся, бывало, в дядюшкино кресло-каталку и держимся за них, а мать усаживается своим огромным задом на велосипедное сиденье. Уж как мы ликовали при виде этого зада. Прямо захлебывались, как собаки, налакавшиеся самогона.

На этот раз мистер Уоттс в открытую засмеялся вместе со всеми.

— Так вот, — продолжила она. — Косички нужны для того, чтобы отмахиваться от мух, равно

как и от мальчишек, которые норовят залезть руками куда не следует. Девочка, которая заплетает косички, способна отличить хорошее от дурного — и себя не выпячивает.

Бедная мама. Не успела она завоевать наше расположение, как тут же его потеряла. И не знала из-за чего. Будто сама себя не слышала.

Когда она дошла до заключительного довода, мы все уже скрестили руки на груди и с трудом изображали вежливый интерес.

— Так вот, соединяя две пряди волос и скручивая их в косичку, вы постигаете идею взаимности… и начинаете понимать, как распознают друг друга Бог и дьявол.

Маме не терпелось донести до нас свои познания, но она не представляла, как вбить их в наши головы. Думала взять нас на испуг. Неужели она не видела, что при каждом упоминании Бога или дьявола у нас вытягивались лица. Мы куда охотнее послушали бы про собак, налакавшихся самогона.

После ее ухода мистер Уоттс не стал терять ни минуты. Он взял со стола «Большие надежды», и при первых же звуках его голоса мы встрепенулись, перестав разглядывать крышки парт.

Рождество. С утра хлынул дождь, а потом в

свежих лужах заиграли осколки солнца. Мы слушали кваканье лягушек. Мимо меня прошествовал младший брат Силии, неся на палочке лягушку. Раньше я бы попросила Вирджила, чтобы он мне тоже поймал лягушку. Но теперь у меня появились совсем другие интересы.

Уроков в тот день не было, а потому и про Пипа мы не узнали ничего нового. Рождественского угощения тоже не было. Как назло, именно в этот день наши родители решили, что стряпню затевать опасно. Дым якобы мог выдать наше местонахождение. Как будто он до этого нас не выдал. Да и какая разница? Солдаты и так знали, где нас искать. И рэмбо тоже знали; это новое имя приросло к босоногим повстанцам, которые повязывали головы платками-банданами. Повстанцев мы не боялись: к ним ушли чуть ли не все молодые парни из нашей деревни. Но неотвязная тревога, застывшая на лицах взрослых, говорила нам, что не все так просто: положение все время менялось, и со дня на день мы могли почувствовать это на своей шкуре.

Из нашей жизни ушла былая безмятежность. Мы вздрагивали от любого неожиданного звука. Заслышав вертолет, я уже боялась дышать, а сердце уходило в пятки. Еще живы были старики,

верившие в магию. Эти просили дать им зелье, которое сделает их невидимыми для краснокожих карателей. Многие, в том числе и моя мама, и матери моих одноклассников, усердно молились.

На дереве, под которым молились женщины, висели вверх тормашками сотни летучих мышей. Если приглядеться — они как будто держали в крыльях махонькие молитвенники. Однажды с наступлением сумерек, как раз во время одного из молитвенных собраний, из джунглей, пошатываясь, вышел старший брат Виктории. На голове у него была красная бандана повстанца. А в руке — старое ружье. Босой, в лохмотьях. Он приволакивал раненую ногу.

Под взглядами набожных женщин брат Виктории понял, что он уже дома, и повалился на землю. Раны Сэма оказались не такими серьезными, как мы думали. Кого-то из ребят послали за мистером Уоттсом. Тот пришел, жуя банан, — видно, еще не понял, в чем дело.

При виде Сэма учитель передал мне недоеденный банан и опустился на колени подле раненого. Дав Сэму хлебнуть из небольшой фляжки (позднее мне сказали, что в ней было спиртное), он запрокинул ему голову, вложил в рот ветку дерева и дал знак отцу Гилберта. При помощи ножа

для потрошения рыбы то г извлек из ноги Сэма три армейские пули. Эти пули он положил на траву, а мы столпились вокруг и глазели, как на свежий улов. Пули оказались искореженными, мокрыми, красными.

Появление брата Виктории нас не обрадовало. Мы боялись, что по его следу сюда нагрянут каратели, которые не станут разбираться, кто из нас мятежник, а кто — нет. Все знали, какая судьба постигла повстанческие деревни. Их сожгли дотла, не говоря уже о другом, что было не предназначено для детских ушей. Больше я Сэма не видела: его спрятали в зарослях. День и ночь с ним сидела мать, лечила его целебными кореньями, поила водой. Через две недели отец Гилберта посадил Сэма в лодку и вывез в море. В ночной тишине, под покровом темноты мы слушали всплеск весел. У лодки был подвесной мотор, но отец Гилберта не хотел тратить остатки горючего. Рыбак отсутствовал двое суток. На третью ночь, пока все спали, он вытащил лодку на берег. Я увидела его только утром: на нем лица не было.

~~~

От болотистого края, где жил Пип, до «столицы» езды было часов пять. Даже без объяснений мистера Уоттса мы поняли, что пять часов езды — это значительное расстояние. Наверное, именно так считалось году в тысяча восемьсот пятьдесят каком-то. Но пять часов — это всяко меньше, чем полтора столетия, и гораздо ближе, чем полмира. Мы услышали, что столичный Лондон испугал Пипа своей «необъятностью». Необъятность?

Мы уставились на мистера Уотса в ожидании объяснения.

— Великое множество, толпы народу, ощущение сумятицы и вместе с тем потрясающего величия…

Держа в руках книгу, мистер Уоттс всякий раз уносился мыслями в Лондон. На самом деле он описывал собственное волнение, охватившее его в день приезда. Улыбка сошла с его лица. Думаю, из-за того, что ему вспомнилась безвозвратная молодость. По его словам, Лондон сразу показался ему смутно знакомым, потому что он исходил его вдоль и поперек вместе с мистером Диккенсом.
~~~

Он признался, что, невзирая на свою бедность, отдал последние гроши старой нищенке, а потом бродил по парку, согреваемый мыслью об этом благом деле. Стало холодать. А когда вдобавок припустил мелкий дождик, он вышел за ворота парка. Дождался, когда можно будет перейти через шумную улицу. Заглянул в освещенное окно кафе, представил, как славно мог бы перекусить, будь у него деньги, и вдруг увидел, как эта старая попрошайка намазывает сдобную булочку маслом, а когда она подняла взгляд и увидела маячившую за окном фигуру, в ее глазах, как выразился мистер Уоттс, не промелькнуло ни тени узнавания.

Мы заливались, как щенята, потешаясь над бестолковым учителем. Мистер Уоттс только кивнул. Он все понимал.

Наш смех его не обидел, но, как только он опустил глаза на страницы книги, мы заткнулись. А мистер Уоттс еще с минуту помолчал. Мы решили, что он мысленно вернулся в Лондон и застыл вместе со своим молодым двойником у освещенного окна; именно в такие моменты мы вспоминали, что мистер Уоттс — единственный белый человек на острове. Он стоял в классе, не похожий ни на кого из нас, и вспоминал те места,

которых мы не знали, не видели и даже не представляли, разве что со слов мистера Диккенса.

Слова «столица» и «Лондон» были для нас пустым звуком. Даже мистер Уоттс не сумел найти для них местные соответствия. Тогда он привел нас на берег. Вырыл в песке канавку, чтобы приливная волна заполнила ее водой. Получилась Темза. Набрав серых камней, сложил их рядком. И назвал «зданиями». Стал рассказывать, упоминая фейерверки, извозчиков, конский волос, но мы уже не требовали разъяснений. Мы научились выделять главное.

Когда мы впервые дошли до мистера Уэммика — этот чудаковатый тип служил у мистера Джеггерса, — в школу явилась моя мать вместе с другой женщиной из молельной группы. Звали ее миссис Сип. У нее три сына ушли к повстанцам. И муж, судя по всему, тоже. А если не ушел к повстанцам, то, наверное, умер неизвестно где. Миссис Сип о нем не распространялась.

Мистер Уоттс отошел в сторону, моя мать легонько подтолкнула миссис Сип вперед и представила ее классу. Миссис Сип удостоверилась, что стоит на самом видном месте. Мама чуть-чуть подправила ее позицию. Под нашими взглядами гостья сделала небольшой шажок вперед.

— Дети, я принесла вам два рассказа, — объявила миссис Сип. — Первый — о наживке для рыб. Кто хочет поймать крупную рыбину, пусть возьмет рыбу-прилипалу. Наживишь ее хвостом на крючок — и она сама улов принесет, это чистая правда, я своими глазами видела. У рыбы-прилипалы есть на голове круглая присоска, чтоб лепиться к акуле, черепахе или крупной рыбине. Но если принесет она луну-рыбу, спешите перерезать леску — луна-рыба ядовита.

Склонив голову, миссис Сип отступила на шаг назад, и мы зааплодировали. Эту привычку мы усвоили совсем недавно, а поскольку все захлопали без понукания, можно было утверждать, что, во-первых, под влиянием мистера Уоттса мы постигали правила приличия, а во-вторых, что миссис Сип обладала особым внутренним достоинством. Ее речь лилась из какого-то спокойного источника; моя мама, например, понятия не имела, где такой находится.

Миссис Сип с улыбкой подняла взгляд, и наши аплодисменты стихли. Она снова шагнула вперед.

— А теперь я начну с вопроса. Что делать человеку, который оказался один в открытом море? Это второе, о чем я хочу рассказать, — произнесла

она. — Если будешь мучиться от одиночества, поищи рыбу-спинорога. Господь соединил души собаки и спинорога, потому что спинороги, как и собаки, лежат на боку и смотрят на тебя снизу вверх.

Миссис Сип повторно склонила голову, и мы вновь захлопали. Даже моя мама к нам присоединилась. Потом она шепнула что-то миссис Сип, и та уступила ей место.

Атмосфера изменилась в мгновение ока. Мы напряглись.

— Мне известно, — начала она, — что мистер Уоттс все время вам что-то рассказывает, в особенности одну историю, но вот что я вам скажу. Любой рассказ должен чему-нибудь учить. Негоже, чтоб он валялся под ногами, как пес-дармоед. От рассказа должен быть толк. К примеру, если выучить слова, можно спеть песню, и рыба сама поплывет на крючок. Есть даже песни, которые излечивают золотуху или отгоняют дурные сны. Но я хочу рассказать вам, дети, как в вашем возрасте повстречалась с дьяволом. В ту пору здесь еще стояла церковь и работала миссия. У нас даже был причал, а в деревне народу жило поболее, чем теперь. Тогда-то я и повстречала дьявола. Спешу поделиться с вами этой историей:

не ровен час, настигнет меня пуля краснокожего, а вы и знать не будете, чего следует остерегаться; это дело тонкое, и мистер Уоттс в нем ничего не смыслит.

Она тут же улыбнулась ему, как бы показывая, что шутит. Но я-то знала, что это не шутка. Мама продолжала:

— Была у нас в деревне одинокая женщина; както раз увидела она, что мы, дети, околачиваемся без дела. Подошла к нам да как закричит: «Эй! Если вы, мелюзга, посмеете украсть церковные деньги, я вам ресницы повыдергаю. Будете ходить ощипанными цыплятами, а люди увидят и сразу поймут: это вы, гаденыши, церковные деньги сперли». Мы перепугались. Кое-кто поговаривал, будто она колдунья. Будто однажды превратила белого человека в повидло и на хлеб намазала.

Все взгляды устремились на мистера Уоттса. Тут он мог бы запротестовать. Белого человека превратили в повидло и на хлеб намазали. Но мистер Уоттс ничем себя не выдал, слушая это смехотворное бахвальство. Во время выступления моей мамы он, как всегда, стоял с полузакрытыми глазами и сосредоточенным выражением лица.

— И когда она спросила, крадем ли мы церковные деньги, мы хором сказали «нет», но,

оказывается, дали маху. Мы сразу это поняли, потому как ее всю перекосило, а нам-то невдомек: то ли она соображает, как бы нас еще прижучить, то ли не чает, как от нас отделаться, вот мы и решили убраться подобру-поздорову. Тут она и говорит: «А ну как я прикажу вам, крошки, украсть церковные деньги?» Мы все, что мальчики, что девочки, стоим, не знаем, куда глаза девать. По нам, лучше уж было помереть, чем церковные деньги воровать. А кто запустит руку в церковную казну, тому всяко смерть. Не согласны мы были красть церковные деньги. Ни-ни. А чертовка эта, видать, прочла наши мысли и говорит: «Слушайте меня. Коли прикажу я вам украсть церковные деньги, никто не посмеет ослушаться. А знаете почему?» Откуда нам было знать? Мы аж языки проглотили. «Не знаете, — говорит, — так я и думала. Что с таких взять, с дармоедов несчастных. А ну, глядите».

Мама выдержала паузу; мы не сводили с нее глаз. Даже мистер Уоттс заинтересовался.

— Слушайте, что было дальше, — сказала она. — Откуда ни возьмись, поднимается прямо над нами дым не дым, а какое-то темное облако. Мы глаза ладонями закрыли, а когда набрались храбрости посмотреть, увидели черного стервят-

ника. Нам такой отродясь не встречался. С виду злобный, туловище голубиное, когти острые и в каждой лапе — по маленькой птичке. Разинул он клюв, одним глазом на нас уставился, и тут мы поняли: это и есть сам дьявол. У нас на глазах отправил он птичку себе в клюв, лениво хрустнул и проглотил, а потом и вторую постигла та же участь. Глядь — а этот мерзкий стервятник уже оборотился темным облаком и упал нам под ноги. А старая чертовка уже тут как тут: стоит, как штык, а изо рта перья торчат. «Вот так-то, — говорит. — Чтоб прямо в воскресенье принесли мне церковные денежки, а не то… И не вздумайте кому-нибудь рассказать. А кто проболтается, к тому приду ночью, когда он будет спать на своем тюфяке, вырву глаза и рыбам скормлю».

От родителей мы это скрыли — боялись за свои глаза. Кому охота слепцом жить, а? Но мы понимали, что нас толкают сразу на два преступления. Во-первых, украсть церковные пожертвования, а во-вторых, намеренно сотворить зло. А это уже дважды плохо. И кара за это будет пострашнее вечной мглы. Поэтому мы ничего красть не стали. У нас под носом пронесли церковную казну, а мы и пальцем не пошевелили — лучше уж ослепнуть и жить во мгле. Пускай эта чертовка вырвет

нам глаза и скормит рыбам. Все воскресенье мы в страхе ждали ее появления. Назавтра стали бояться, как бы она не просочилась в школьное окно. И решили открыться пастору. Он сказал, что мы сумели провести дьявола. Что дьявол был послан нас испытать. Для того он и существует. Чтобы испытывать твердость веры. Надумай мы украсть церковные деньги, эта старуха непременно объявилась бы снова, потому что тогда мы бы сделались орудием в руках сатаны. Пастор сказал: «Молодцы, дети!» — и каждому по конфетке дал.

Закончив рассказ, мама повернулась к мистеру Уоттсу, и они вглядывались друг в друга, пока не вспомнили о нашем присутствии. Не сделай мама этого, мы бы думали, что просто услышали историю про дьявола, и не вспомнили бы о пуле краснокожего.

Мать никогда не спрашивала напрямую, что я думаю о ее школьных беседах. Конечно, ей было любопытно, только она всегда интересовалась исподволь. В тот же вечер она спросила меня, верю ли я в дьявола. По глупости я сказала, что нет. Мама спросила почему — после всего, что я слышала о дьяволе; но я пересказала ей слова мистера Уоттса. Мол, дьявол — это просто символ. Его не существует.

— Пипа тоже не существует, — сказала она.

На это у меня уже был готов ответ:

— Голос дьявола нельзя услышать, а голос Пипа можно.

Мама промолчала. Я ждала-ждала, а потом услышала тихое похрапывание.

Она пришла в школу на следующее утро — явно не для того, чтобы побеседовать с нами. Она пришла бросить вызов мистеру Уоттсу.

— Моя дочь, моя дорогая Матильда, — начала она, — заявляет, что не верит в дьявола. Она верит в Пипа.

Она сделала паузу, чтобы мистер Уоттс мог собрался с мыслями и ответить. Как всегда, он ни капельки не удивился.

— Как по-вашему, Долорес, — начал он ровным тоном, — можно ли утверждать, что на книжных страницах у дьявола и у Пипа положение одинаково?

Настал черед мистера Уоттса сделать паузу. Он ждал, но я знала, что мама не ответит.

— Давайте рассуждать вместе, — сказал он. — Пип — сирота, которому выпала возможность самому построить свою судьбу. Опыт Пипа схож с опытом любого эмигранта. И тот и другой оставляет позади родной дом. Добивается всего сам.

Каждый может начать с чистого листа. Возможно, он где-то совершит ошибку.

И тут моя мама заметила, как ей показалось, слабину в доводах учителя.

Она подняла руку и, перебив мистера Уоттса, спросила:

— А как он узнает, что совершил ошибку?

~~~



Мы дочитали «Большие надежды» четырнадцатого февраля. Я ошиблась в своих расчетах всего на четыре дня, да и то потому, что на Рождество уроков не было, а потом еще мистер Уоттс взял три дня, когда простудился.

Финал книги поставил меня в тупик. До меня так и не дошло, почему Пип тянется к Эстелле. Я же понимала, какая роль отводится ей в общем ходе событий. Мисс Хэвишем украла у нее сердце и на место его вложила камень. Этим камнем, словно кузнечным молотом, Эстелла разбивала мужские сердца. Так мисс Хэвишем отплатила за то, что произошло с ней в назначенный день свадьбы.

Здесь как раз все было ясно — мы твердо знали:
~~~

как аукнется, так и откликнется. Взять, к примеру, Мэгвича, беглого арестанта: меня радовала и даже восхищала мысль о том, что он отплатил добром за добро, когда, разбогатев в Австралии, помог выбраться из болот мальчику, который когда-то помог ему самому выбраться из болот; другое дело, что я совершенно не могла понять, зачем его понесло обратно в Англию. Он же знает, что ему грозит новый тюремный срок, но все равно возвращается, чтобы проверить, как идет превращение Пипа в джентльмена; настает черед Пипу, теперь уже на пару с новым другом Гербертом Покетом, вторично помочь Мэгвичу бежать. И это правильно. Мне понравился такой расклад.

— Любопытному на днях прищемили нос в дверях, — только и сказал мистер Уотгс. А потом добавил: — Если бы все наши поступки вдруг наполнились смыслом, мир бы стал совсем другим. И жить было бы не так интересно, согласны?

Выходит, мистер Уоттс и сам не знал. Когда он читал нам заключительные главы, я, наверное, не слишком внимательно слушала. А если я все расслышала верно, значит, эти главы были так себе. Оказывается, Мэгвич — родной отец Эстеллы. Почему же это обстоятельство вскрылось так

поздно? Наш класс целых пятьдесят девять дней слушал чтение романа, а теперь перед нами была одна паутина. Разрозненные куски находили друг дружку и переплетались. А что, если схема, из которой, как мне казалось, я ничего не упустила, оказалась неправильной?

Я решила дождаться удобного момента и задать свои вопросы. Только не хотела выглядеть тупой. Ни для кого не было секретом, что книга забрала надо мной магическую власть, а мистер Уоттс частенько обращался именно ко мне, чтобы обсудить очередной поворот сюжета. Учитель в меня верил, и сейчас я предпочла держать рот на замке, лишь бы не подорвать его веру.

С неделю после чтения последней главы наши занятия шли ни шатко ни валко. Надеяться было не на что. История закончилась. А с нею и наше путешествие в незнакомый мир. Мы вернулись к себе. Без шансов погрузиться в книгу дни утратили смысл. Все ждали, что мистер Уоттс придумает что-нибудь новое, чтобы заткнуть образовавшуюся в нашей жизни брешь. И он предложил — вероятно, не выдержав зрелища наших угрюмых физиономий, — читать «Большие надежды» по второму кругу. Только теперь — всем по очереди. Он считал, что это хо-

рошая практика в английском. Может, и так. Но я уже знала: повторное чтение ничего не изменит. Содержание книги устоялось раз и навсегда. Пип обидит Джо Гарджери, но Джо есть Джо — он простит. Кроме того, Пип будет все так же сохнуть по Эстелле — скверный выбор, но другого он не сделает вовек. Читай хоть три раза, хоть четыре (что мы и сделали) — эти события останутся неизменными. Единственным утешением было то, что чтение по второму, и третьему, и четвертому кругу могло перенести нас в другую страну. И тем самым сохранить наш рассудок.

Все взгляды устремились на мистера Уоттса, когда он направился к столу и взял «Большие надежды». Мы ждали, кого он выберет, чтобы начать чтение. Обернувшись, он раскрыл книгу там, где описывалось происшествие на кладбище, но тут Дэниел стал тянуть руку.

— Да, Дэниел? — сказал мистер Уоттс.

— А каково быть белым?

Дэниел на миг обернулся ко мне. Это не укрылось от мистера Уоттса, но его взгляд даже не достиг моей парты. Значит, учитель понял, откуда взялся такой вопрос. И я знала, что он понял. Тем не менее его ответ был адресован Дэниелу.

— Каково быть белым? Каково быть белым

на этом острове? Я бы сказал, это все равно что быть последним мамонтом. Временами бывает одиноко.

Мамонт? Знать бы, кто это такой. Дэниел затронул очень интересную тему, но мы сделали вид, будто нас это не касается. Вопрос был задан с бухты-барахты. Никому из нас не хотелось угодить в западню, поэтому дальнейшие расспросы мы попридержали. Зато теперь вопрос появился у мистера Уоттса:

— А каково быть черным?

Он спрашивал у Дэниела, но обращался ко всему классу.

— Нормально, — ответил за всех Дэниел.

Я думала, учитель рассмеется. Может, его и насмешил этот разговор, но смеяться он не стал, а уткнулся носом в «Большие надежды».

— Понимаю, — только и сказал он.

Нагрянули они затемно. Их вертолеты приземлились в дальнем конце пляжа, под горой, по эту сторону реки. В отличие от прошлого раза, нас застали врасплох. Деревню разбудили голоса и пронзительные свистки. Мы ожидали этого момента. Мы его желали, как ни бредово это звучит.

Бывают дни, когда в воздухе собирается удуш-

ливая влажность; она растет и растет, тяжелеет, становится невыносимой и наконец лопается. На землю обрушивается ливень, и снова можно дышать. Подобно этому росло напряжение последних недель. Очень похоже: ты ждешь и ждешь. До тех пор, пока не начинаешь думать: пусть уж нагрянут краснокожие, лишь бы закончилось это ожидание.

Как по команде, мы вышли из хижин. Удивительно: без подсказки, без понукания все как будто сообразили, что нужно делать. Лица у карателей были вымазаны сажей. Мы заметили, как у них бегают глаза. Никто не перекрикивался. В этом не было нужды. Каждый знал свое дело. И солдаты, и мы. Нам было не впервой.

Когда к нам обратился командир краснокожих, оказалось, что у него приятный голос; мы-то думали, он станет орать. Требования были совсем простыми. Ему нужен был поименный список всех жителей деревни. Перепись, объяснил он, проводится в целях безопасности, бояться тут нечего. Попросил нашего содействия. Напомнил, что каждый должен назвать имя, фамилию и возраст. Он ни разу не повысил голос. Выполнить его распоряжения было проще простого: от наших имен не могло быть никакого вреда, это

же не взрывпакеты, начиненные рыболовными крючками. Двое солдат-переписчиков двинулись вдоль шеренги жителей. Пару раз люди просили у них карандаш, чтобы записать фамилию без ошибок. Мы заулыбались. Нам ведь не жалко было помочь, тем более в деле грамотного написания наших же имен. Управились мы быстро.

Офицеру передали два листка бумаги. У нас на глазах он стал неторопливо изучать записи. Явно выискивал какое-то определенное имя: возможно, у него были сведения о тех, кто ушел к повстанцам.

Когда наконец командир оторвался от бумажек, стало ясно, что дети его не интересуют. Его интересовали только лица взрослых. Причем все без исключения. Если кто-нибудь из наших родителей опускал глаза, командир считал это своей победой. Покончив с игрой в гляделки, он объявил, что хочет задать вопрос. Вопрос, добавил он, совсем не сложный — ответ известен каждому. При этом он улыбался сам себе. А спросил он вот что: почему в деревне нет молодых людей? Девушки есть, а где же парни?

Скрестив руки на груди, он уставился в землю, словно решал вместе с нами любопытную загадку. Я чувствовала, что ответ ему известен, но

вся штука была не в этом. Он хотел, чтобы ответ дали мы. А мы знали: очевидный ответ будет равносилен признанию нашей вины. Нас взяли в клещи: так чайка сжимает в клюве сочного краба. Офицер и без нас все знал. Но этого было недостаточно. Он хотел большего.

На краткий миг нам дали послабление. Со стороны пляжа трусцой прибежал солдат. Он переговорил с офицером. Они стояли поодаль, и мы ничего не услышали, но поняли, что офицера это известие не обрадовало: у него дернулся уголок рта, а ладонь хлопнула по бедру. Вместе с солдатом он удалился в сторону пляжа. А через пару минут быстрым шагом вернулся. От его первоначального благодушия не осталось и следа.

Он двинулся вдоль нашей шеренги, вглядываясь в каждое лицо. Дошел до конца, вернулся на прежнее место и застыл перед нами, сцепив руки за спиной и раскачиваясь из стороны в сторону.

— Кто такой Пип? — спросил он.

Ответа не последовало.

— Я велел назвать все имена, — рявкнул он. — А вы дали не все. Как это понимать?

Кое-кто из взрослых мог бы ответить. Ответ знали те, чьи дети учились у мистера Уоттса. Например, моя мама. Но она зажмурилась и за-

ткнула уши. Наверное, молилась. Поэтому и не заметила, как мы с ребятами переглядывались. И не знала наперед, кто расплылся в улыбке.

— Спросите у мистера Диккенса, сэр, — выпалил Дэниел.

Офицер перешел туда, где стоял Дэниел:

— Это еще кто?

И Дэниел, задрав нос от важности, ткнул пальцем в сторону школы. Но мы-то знали, куда на самом деле направлен его жест: вовсе не на школу, а на бывшую церковную миссию, скрытую густыми зарослями.

Офицер подозвал нескольких солдат и сказал им что-то на городском наречии. Все как один повернулись туда, куда указал Дэниел. Офицер о нем не забыл. Щелкнув пальцами, он приказал Дэниелу выйти из строя. По примеру краснокожих Дэниел трусцой выбежал вперед. Офицер посмотрел на него искоса. Я решила, что сейчас Дэниел получит оплеуху за свою наглость. Но вместо этого офицер взял его за плечо и приказал идти вместе с солдатами, чтобы доставить сюда этого мистера Диккенса.

Вид мистера Уоттса в неизменном костюме стал для нас привычным. Никто уже не замечал, что глаза у него вылезают из орбит, а одежда

болтается на костлявом теле, будто на жерди. Мы успели забыть, как разительно выделяется белый цвет на фоне нашего пропотевшего, зеленого мира. Но все это мгновенно пришло на ум, когда мы увидели мистера Уоттса и его жену в кольце солдат.

Офицер повернулся к нам спиной и, скрестив руки на груди, наблюдал за приближением этой группы. Впереди всех, сияя от гордости, шел Дэниел. Он чеканил шаг и, как в строю, размахивал руками. А я смотрела на мистера Уоттса глазами краснокожих. Привычная картина открывалась мне заново. Мистер Уоттс был на голову выше солдат. Он щурился от света, хотя в этот час солнце пекло еще не в полную силу. Впрочем, он, наверное, щурился не от солнца. Я замечала у него такое выражение лица, когда моя мама бросала ему в лицо дерзкие оскорбления. Таким способом он, как мне казалось, пытался скрыть обиду.

Но скорее всего, я ошибалась; сейчас, когда он появился на поляне, прищур избавлял его от необходимости смотреть людям в глаза. Он смотрел куда угодно, только не на знакомые лица. Недоброжелатели могли бы сказать, что он в одночасье сделался заносчивым и себялюбивым,

как те белые господа, для которых мой дед еще мальчишкой устраивал вместе с ровесниками акробатическую пирамиду; можно было подумать, он готовится произнести речь и только ждет приглашения.

В нем произошли и другие, не столь заметные перемены. Мы уже много месяцев не видели его при галстуке. Сейчас его левая рука то и дело поправляла завязанный на шее узел. Он откопал дома рубашку со всеми пуговицами. Надел ботинки. Как будто на самолет собрался.

Краснокожие солдаты, как могло показаться, забыли о нашем существовании. Они уставились на мистера Уоттса, отгораживая его своими взглядами. А мы, как прежде, думали: до чего же странную рыбу прибило к нашему берегу.

Наверняка они видели белых и раньше. В Морсби белых полно. В Лейосе и Рабауле — тоже. На протяжении многих лет, пока не началась резня, белые австралийцы хозяйничали на руднике. Мы видели их «вертушки» и легкие самолеты. Видели их прогулочные катера. Будь я в ту пору постарше, я бы отметила, как моя мама, что наши мужчины, возвращаясь из мира белых, всякий раз немного менялись.

Офицер подошел к мистеру Уоттсу. Он оста-

новился на полшага ближе, чем следовало, и вгляделся в его лицо.

— Ты — мистер Диккенс.

Возможный ответ мистера Уоттса напрашивался сам собой. Я была уверена, что он без лишней суеты прояснит недоразумение насчет Пипа. Даже Грейс могла бы вставить слово. Но нет: она, совсем как моя мама, закрыла глаза и устранилась от происходящего; ее телесная оболочка была тут, а все остальное — неизвестно где.

Если мистер Уоттс и собирался что-то сказать, он передумал, когда его взгляд упал на сияющего Дэниела, который держался на шаг позади офицера. По-моему, в тот миг наш учитель понял, чем вызвано это недоразумение, и обстоятельства для него изменились, в результате чего он ответил:

— Да, это я и есть.

Эту ложь мог бы опровергнуть любой из его учеников, и мне, как и остальным, стало ясно, сколь высока была в этот миг степень его доверия к нам. Один Дэниел так и не понял, как много сейчас поставлено на карту. То ли он сглупил, то ли просто не услышал, как мистер Уоттс легкой поступью вошел в образ величайшего из английских писателей девятнадцатого века.

У моей мамы тогда же появилась возможность

поквитаться со своим врагом, но она смолчала. Глаза ее были закрыты. Те из взрослых, кто мог бы внести поправку, боялись привлечь к себе внимание. Между нами и мистером Уоттсом, между его белизной и нашей чернотой разверзлась пропасть, и никто из нас не стремился к тому краю, на котором в одиночестве стоял мистер Уоттс.

— Где Пип? — спросил офицер.

Кто-нибудь другой из белых мог бы покатиться со смеху, но мистер Уоттс ответил с полным уважением:

— Позвольте мне объяснить, сэр. Пип — это вымысел. Персонаж из книги.

Офицер посуровел. Допрос выходил из-под его контроля. Ему вовсе не улыбалось выяснять, что это за персонаж, из какой такой книги, — кому охота показывать свое невежество. Но эти вопросы были написаны у него на лбу.

— Возникла некоторая путаница, — произнес наконец мистер Уоттс. — Если позволите, сэр, я покажу вам эту книгу, и вы убедитесь, что Пип — это главный герой романа «Большие надежды».

Впервые за все время мистер Уоттс поглядел в нашу сторону. Он выбрал меня.

— Сделай одолжение, Матильда. Книга лежит на учительском столе.

Пока офицер не удостоил меня быстрым кивком, я не шелохнулась.

Я думала, он приставит ко мне солдата, но этого не произошло. Правда, один из карателей, держа в руке винтовку, провожал меня глазами до самой школы. Идти было всего ничего, но я все время чувствовала себя под прицелом его винтовки и налитых кровью глаз. Я знала, что должна сделать. Задание нужно было выполнить быстро и добросовестно.

Забежав в пустой класс, я остановилась. Книги на месте не было. Я прошлась между рядами парт. Откинула крышки. Присела на корточки, чтобы проверить, не валяется ли она на полу. Я даже подняла глаза к потолку. Семейство бледных гекконов замерло при моем вторжении. Черные глазки, столько раз изучавшие меня сверху, не выражали ни единой мысли. Эти ящерицы при всем желании не сумели бы мне помочь, даже если б знали, куда подевались «Большие надежды».

Тут я почуяла страх, в точности как Пип, когда Мэгвич пригрозил вырвать ему печенку, если утром он не принесет ему жратву и подпилок. Я почуяла, что меня выбрала сама тьма, окутавшая наши судьбы. Выходя из школы, я видела, что все

деревенские, а вместе ними офицер, солдаты и мистер Уоттс, смотрят в мою сторону. Я стремглав пробежала мимо солдата с налитыми кровью глазами. Ни слова не сказала офицеру. И едва не обратилась к учителю «мистер Уоттс», что было бы ошибкой.

— Никакой книги там нет, сэр.

Если в какой-то момент мистер Уоттс и мог струхнуть, то именно сейчас.

— Ты уверена, Матильда?

— На столе пусто, сэр.

На лице мистера Уоттса отразилось только легкое недоумение. Он перевел взгляд на близлежащие заросли, размышляя, куда могла запропаститься книга.

Офицер полыхнул глазами:

— Говоришь, нету никакой книги?

— Книга есть, сэр. Только я ее не нашла.

— Не верю. Это ложь. Никакой книги нету.

Офицер прокричал, чтобы солдаты обыскали каждую хижину. Мистер Уоттс порывался что-то сказать, но краснокожий ему не позволил. Он ткнул учителя пальцем в грудь.

— Нет! Стой где стоишь. Всем оставаться на местах.

Оставив двух солдат держать нас под прице-

лом, он вместе с остальными отправился искать Пипа.

Нам оставалось только смотреть, как они заходят в наши жилища. Мы слышали, как бьется посуда. Потом солдаты начали вытаскивать вещи. Наши тюфяки. Одежду. Скудные пожитки. Все сваливали в одну кучу. Закончив обыск, офицер прокричал какой-то приказ двум солдатам, оставленным нас охранять. Им надлежало подойти к куче скарба.

Лицо офицера приняло совсем другое, опасное выражение. Отличное от прежней суровости. Ее сменил холодный, оценивающий взгляд. В любом случае, перевес был на его стороне. А нас ждала расплата за отказ от сотрудничества.

Как только мы перестроились (теперь в одной шеренге с нами стояли мистер Уоттс и Грейс), офицер чиркнул спичкой. И поднял ее перед собой, чтобы всем было видно.

— Даю вам последнюю возможность. Ведите сюда этого Пипа, или я спалю ваше барахло.

Мы проглотили языки. Все потупились. Тут мистер Уоттс прочистил горло. Как и все ребята, я узнала это покашливание; мы подняли головы и увидели, что мистер Уоттс направляется к офицеру.

— Позвольте мне объяснить, сэр. Человека, которого вы ищете, в реальности не существует. Это вымышленный, придуманный персонаж. Действующее лицо романа…

Тут он обычно добавлял: «…величайшего из английских писателей девятнадцатого века. Его имя — Чарльз Диккенс». Но сейчас ему пришла в голову другая мысль, очень своевременная, которая отразилась у него на лице: Дэниел ведь мог выболтать, что учитель — никакой не Чарльз Диккенс. Мистер Уоттс надел на себя эту маску, чтобы защитить Дэниела. Если сейчас открыться, можно сделать только хуже. Впервые за все время мистер Уоттс забеспокоился. Как растолковать офицеру краснокожих, что к чему? Открыть истину означало бы сделать его посмешищем в глазах подчиненных. Все эти сомнения промелькнули на учительском лице. А краснокожий истолковал эту небольшую заминку как вероломство.

— С какой стати я должен тебе верить? Сперва ты меня убеждал, что это парень из книжки. А когда я потребовал книжку, оказалось, что книжки нет.

Мистер Уоттс мог бы высказаться по этому поводу, но стоило ему раскрыть рот, как офицер жестом заставил его молчать:

— Будешь говорить, когда тебе прикажут. Я больше не намерен выслушивать это вранье.

Он повернулся к нам:

— Вы прячете человека по прозвищу Пип. Это ваш последний шанс его выдать. В противном случае я буду считать, что вы укрываете мятежника. Ваш последний шанс. Ведите его сюда.

Будь у нас такая возможность, мы бы сдали ему Пипа, но мыслимо ли сдать то, чего не существует — по крайней мере, в понимании офицера краснокожих?

Он чиркнул второй спичкой и точно так же, как в прошлый раз, поднял ее перед собой. Теперь никто не прятал глаза. Мы смотрели, как пламя подбирается к его пальцам.

В куче домашнего скарба Дэниел вдруг заметил какую-то свою вещь. Он как ни в чем не бывало направился туда. Хотел вытащить целлулоидный шарик, всем своим видом показывая, что этот шарик угодил туда по чьему-то недосмотру. Но Дэниел не успел исправить эту оплошность: путь ему преградил солдат с винтовкой, который силой заставил его вернуться в строй.

Офицер отдал приказ. Двое солдат облили керосином тюфяки и одежду. Третья зажженная офицером спичка полетела на кипу вещей.

Вспыхнувшее пламя побежало по пути керосиновой струйки. Огонь пока был поверхностным. Очень скоро повалил дым. В считаные секунды заполыхала вся кипа. Наше добро потрескивало и плевалось, как свиное сало. Прошло не более пяти минут, и наши пожитки превратились в горку пепла. Мы остались в чем были.

На лице офицера не отразилось ни злорадства, ни мстительности. Так выглядит самый обыкновенный человек, скрепя сердце выполняющий неблагодарную работу.

Он ссутулился. Будто провалился внутрь себя, в какой-то темный омут. Дело принимало серьезный оборот. Среди почтительной тишины, будто во время проповеди, он произнес:

— Вы просчитались. Хотели обвести меня вокруг пальца. Даю вам на раздумье ровно две недели. Не советую прятать этого Пипа.

Напоследок окинув нас взглядом, офицер зашагал в сторону пляжа. Солдаты устремились за ним, как свора собак за хозяином.

~~~

Мы столпились вокруг углей и пепла. Все молчали. Разве что одна из женщин тайком всхлипнула по какой-то вещице. Отец Гилберта палкой разворошил кострище и отыскал барабан для лески. Той же палкой он отбросил его в сторону. Пластмассовый корпус сильно оплавился. Такая же судьба постигла и прочие вещи, сохранившие хотя бы намек на первоначальную форму. Все они стали непригодными. А тюфяки попросту сгорели дотла.

Бездетные семьи слыхом не слыхивали про «Большие надежды». Им было неведомо, кто такой Пип и чем он провинился. Они решили, что военные обознались. Или что этот человек, на которого шла охота, жил дальше к северу. Я сама слышала такие разговоры и даже хвастливые измышления насчет его места жительства. Зато родители учеников мистера Уоттса понимали, кто виноват в их бедах. Именно к этим людям мистер Уоттс обращался с такой печальной горечью, какую я слышала у него в голосе только при чтении пятьдесят шестой главы романа, где
~~~

описывается, как Мэгвич, повторно брошенный за решетку, лежит в тюремном лазарете — тяжко больной старик, ожидающий приговора. Тон мистера Уоттса однозначно указывал, кто заслуживает нашего сочувствия.

Теперь на него легла мучительная вина за этот костер, в котором сгорело имущество деревенских жителей. Они все еще перерывали серую, дымящуюся золу в безумной надежде найти хотя бы шпильку для волос, когда мистер Уоттс медленно подошел к неостывшему кострищу. В такие минуты никаких объяснений не требуется, потому что люди поневоле считают себя жертвами. Мистер Уоттс не пытался увильнуть. Но его извинения возымели неожиданное действие, и позже мне подумалось, что он их тщательно продумал, чтобы усмирить гнев, который грозил обрушиться на его голову.

— Вчера исполнилось десять лет с того дня, как мы с Грейс переехали жить на остров. У нас накопилось много впечатлений, много светлых воспоминаний. Не понимаю, как мы дошли до сегодняшних событий. Даже не знаю, что сейчас сказать и как повиниться, потому что никакие слова не заменят того, что вы потеряли. Прошу только об одном: верьте мне, когда я говорю, что

Пип — это недоразумение, но я слишком поздно спохватился. Вы уж простите.

Люди, к которым он обращался, избегали его взгляда. И даже те, кто смотрел на него в упор, как моя мама, не удостоили ответом этого белого, чтоб ему изжариться под палящим солнцем. Жители стали разбредаться по своим опустевшим хижинам. Кое-кто остался ворошить угли — вдруг что-нибудь еще осталось незамеченным. Двое-трое улыбались, сжимая в руках мелкие находки. Многие, прихватив мачете, отправились в джунгли, чтобы нарезать копьевидных листьев для новых тюфяков.

Мистер Уоттс ожидал ответа, любого ответа, но все напрасно. Грейс ничего не оставалось, кроме как взять его за руку и потянуть в сторону бывшей миссии. Я провожала их взглядом: изможденного белого мужчину и грузную, широкобедрую черную женщину.

Я хотела броситься следом и сказать что-нибудь в утешение мистеру Уоттсу. Хотела, но удержалась.

Вместо этого я поплелась домой, чтобы проверить, не осталось ли у нас чего-нибудь стоящего после набега солдат. Осталось. В углу валялся карандаш, которым я расчерчивала свой само-

дельный календарь. А на стропилах под крышей лежал свернутый отцовский тюфяк. Вряд ли солдаты его пощадили — наверное, просто не заметили. Маму это должно было порадовать. Хоть что-то в хозяйстве уцелело, да притом единственная вещь, которая теперь напоминала о моем отце. Я решила расстелить тюфяк на полу. Чтобы сделать ей приятное.

Сдернув его вниз, я нащупала внутри что-то твердое, размером с небольшой речной камень. Первым делом это и пришло на ум — «камень», но мысль тут же перепрыгнула на другое. Торопливо раскатав тюфяк, я увидела книгу, принадлежавшую мистеру Уоттсу: «Большие надежды».

От такого предательства я онемела.

У меня перед глазами возникла мама, которая, закрыв глаза, стояла в нашей перепуганной шеренге. Где были ее уши? Неужели она не слышала, как офицер краснокожих требовал — причем не раз — отдать ему книгу? Где были ее глаза и уши, когда тот же самый офицер, держа в пальцах зажженную спичку, в последний раз потребовал выдать либо Пипа, либо книгу, в которой тот якобы обретался?

Задаваясь этими вопросами, я уже разгадала ее намерения. Своим молчанием она хотела ра-

зом уничтожить и Пипа, и авторитет мистера Уоттса — белого безбожника, который навязал ее дочери какого-то придуманного типа, заменившего ей кровную родню. Скажи она хоть слово — и наше добро не сгинуло бы в огне.

Но потом до меня дошло, что не все так просто. Надумай она принести книжку, ей бы пришлось первым делом объяснить, как такая вещь попала к ней в дом. По той же самой причине я сейчас не могла вернуть книгу мистеру Уоттсу. Мне пришлось бы сказать, где я ее нашла. То есть предать маму. Оставалось только свернуть тюфяк и вместе с потрепанной книгой запихнуть обратно под стреху — пусть уж мама сама когда-нибудь вытащит.

Как могли, мы себя утешали. Довольствовались тем, что осталось. Как-никак, море изобиловало рыбой. На деревьях зрели плоды. Краснокожие не сумели отнять у нас воздух и тень.

На мамином месте я бы себя спросила: зачем мне это все, если я потеряла дочь? После ухода краснокожих мама как сквозь землю провалилась. Я особо и не искала, но заметила, что среди тех, с кем она водилась, ее нет. Ближе к вечеру я увидела ее на берегу моря и порадовалась, что она цела и невредима.

Подходить я не стала. Не могла себя заставить. Хотя отчасти не прочь была бы ей сообщить, что разоблачила ее козни. Просто чтобы она знала, что мне все известно.

Ночью мы ворочались на голых половицах; мама делала вид, будто знать не знает про папин тюфяк. Она закуталась в тягостное молчание. Ей, судя по всему, претило говорить о краснокожих. Наверное, только у нас дома их не проклинали. Ко мне она даже не повернулась. Так мы и промаялись без сна.

Наутро, чтобы не задохнуться от чувства вины, я побежала на берег и обнаружила, что мое «святилище» кто-то разрушил. Раковины и сердцевидные семечки были разбросаны во все стороны. После тех бед, которые свалились на наши головы, у меня пропало желание заново выкладывать на песке имя «ПИП».

Потери наши были невосполнимы: взять хотя бы папины открытки. Помню, на одной красовался попугай. На другой — кенгуру. Пропала вся отцовская одежда, которую мама аккуратно сложила в уголке, будто в ожидании его скорого приезда. Однажды я увидела, как она зарылась лицом в папину рубашку. Теперь все эти вещи бесследно исчезли, а вместе с ними и мои кеды.

Они пришли в последней посылке, доставленной перед началом блокады. Я их так ни разу и не надела, потому что они жали ногу. Кеды были мне тесны; я стала думать, как же отец промахнулся с размером, и поняла: он просто не знал, как я выросла. Так они и лежали без дела, но я не могла с ними расстаться. Не могла, и все, их ведь прислал папа.

Наши немногочисленные фотографии тоже погибли в огне, в том числе и единственный снимок отца, сделанный на острове. Эти фотографии до сих пор стоят у меня перед глазами. На одной родители сидят в рыбацком клубе — это компания устраивала в Киете рождественский праздник для рабочих. Мама там еще молодая. За ухом цветок. Нижняя губа чуть опущена, как полураскрытый бутон, встречающий улыбку. Отец обнимает ее за плечи. Оба подались вперед, словно заинтересовались вопросом дочки, разглядывающей их лица годы спустя: *Как вам привалило такое счастье? И куда оно делось?*

Кто бы мог подумать, как важны и нужны расческа и зубная щетка. Покуда не понадобилась тарелка или миска, о них и не вспоминаешь. А в то же время обыкновенный кокос можно приспособить под самые разные нужды.

Было одно удивительное стечение обстоятельств, которым, собственно, и объяснялось мамино молчание. При том что книга «Большие надежды», принадлежавшая мистеру Уоттсу, ничуть не пострадала, мамина драгоценная Библия, в переложении на пиджин, сгинула в огне.

Люди теперь сторонились мистера Уоттса. Завидев его, деревенские либо сбивались в тесную кучку, похожую на банановую гроздь, либо бросались врассыпную. Мистер Уоттс ни перед кем не заискивал. Не считал нужным оправдываться. Кому-то могло показаться, будто он не замечает, что наши его чураются, но я не обманывалась. Уяснив к тому времени, кто такие мамонты, я говорила себе, что мистер Уоттс одинок, как последний мамонт.

Умы деревенских занимал Пип. Теперь все уже знали подоплеку или думали, что знают, но находились горячие головы, которые пускались на поиски. Мы с мамой, погрузившись каждая в свое молчание, смотрели, как эти простаки вооружаются своими мачете и дружно идут в джунгли — ловить Пипа.

Другие, кто понимал, что Пип существует только в книге, ломали голову над ее исчезновением. У них оставался единственный шанс спасти свои

хижины: к приходу солдат отыскать книгу, где на каждой странице мелькает имя «Пип». Долорес, по всей вероятности, это понимала. Думаю, у нее на сердце лежал тяжкий груз. Наверное, она замышляла перепрятать книгу за стенами нашей хижины, чтобы ее поскорей нашли.

Ума у нее хватало. Можно представить, как она просчитывала все возможности, слушая перепуганных соседей, которые прикидывали, когда вернутся краснокожие. Долгими непроглядными ночами она, вероятно, лежала без сна и думала — знала, как ей следует поступить, но спрашивала себя, нет ли другого выхода. Со мной мама так и не поделилась. Не стала рассчитывать на мое участие, а тем более — на поддержку. Я была слишком далека от нее, чтобы она могла раскрыть мне душу или спросить мое мнение. При том что лежала я совсем рядом, мое ночное молчание отделяло меня пропастью, через которую мама не могла переступить. В списке людей, перед которыми она не могла показать слабину, я стояла на первом месте. Родная дочь от нее отвернулась — не только от обиды за соседей, но и оттого, что мистер Уоттс оказался без вины виноватым. Если бы я пожелала и смогла нарушить свое молчание, то заговорила бы с нею на ее язы-

ке. Я бы тогда сказала, что в нее вселился дьявол.

~~~



Ночами до нас доносилась беспорядочная стрельба. Но не потому, что поблизости шли бои. Это бесновались пьяные рэмбо, которым повсюду мерещились краснокожие. Ружья, нацеленные в звезды, палили сквозь кроны деревьев. А порой раздавались и совсем другие выстрелы, после которых навстречу рассвету поднимались клубы дыма, и мы знали: там произошло нечто такое, о чем лучше не думать.

Мы опять в страхе ждали возвращения краснокожих, и у людей сдавали нервы. Соседи ссорились по мелочам. Переругивались. Жены бросались с кулаками на мужей, мужья — на жен. Все шпыняли детей. По дворам, где прежде разгуливали петухи, теперь носилась малышня.
~~~

А однажды утром мы увидели, как мистер Уоттс тянет за собой тележку, в которой стоит его жена Грейс. По такому случаю он нацепил красный клоунский нос. В одночасье превратившись в Лупоглаза, он поразил нас тем, что с легкостью вжился в прежнюю роль; а еще тем, что и отношение к нему мгновенно сменилось прежним.

При виде Грейс, едущей в тележке, толпа сразу решила, что дом Уоттсов избежал беды. А значит, у Грейс и мистера Уоттса, скорее всего, уцелело все имущество. Доказательством тому служили нелепый клоунский нос и эта тележка. Никто не помнил, чтобы вещи Уоттсов тащили на костер. Но об этом никто и помыслить не мог, ведь мистер Уоттс был белым, а значит, жил совсем в другом мире, где не случалось подобных вещей.

Теперь люди решили, что именно у мистера Уоттса должна быть пропавшая книга, которая спасет их жилища.

Я не побежала со всеми громить дом, где жили мистер Уоттс и Грейс. Еще не хватало. Не могла же я допустить, чтобы мистер Уоттс, подняв глаза, увидел в толпе погромщиков свою Матильду. К тому же я знала, что эти поиски — пустая трата времени. Книга «Большие надежды», завернутая в тюфяк моего отца, лежала у нас под стрехой,

как раз над тем местом, где спала мама. Никогда в жизни, ни до, ни после того момента, я не оказывалась хранительницей столь важной информации.

Теперь мне, как до этого — моей маме, довелось испытать душевные терзания. Когда наши соседи бросились к дому мистера Уоттса, я уже знала, что могло их остановить, но ничего им не сказала и ничего не сделала.

Вот как думает малодушный: *Если я отсижусь в четырех стенах, то не увижу погром в доме Уоттсов. Я и знать ничего не буду.*

Обыскав весь дом и не найдя книгу, люди, наверное, пришли в отчаяние и ярость. Мне было не по уму точно определить настроение толпы.

Но, подкравшись к дверям хижины и выглянув на улицу, я увидела, как мимо плывут пожитки Уоттсов. Люди выносили все подряд. Даже бесполезные электроприборы со шнурами и штепсельными вилками, болтавшимися в пыли. Одна женщина несла пластмассовый короб для белья. Видно, она была не прочь оставить его себе. Но так никто не поступал. Тяжелый скарб волокли прямо по земле. Двое мужчин тащили комод, словно свинью, которую вот-вот насадят на вертел. Я насчитала две-три улыбки. Хорошо

еще, что улюлюканья не было.

Мне никогда раньше не доводилось видеть ничего подобного; ни разу в жизни я не сталкивалась с такой мстительностью, но люди, повторю, не сомневались в своей правоте. Никто не указывал им, куда что нести. А добра было видимо-не-видимо. Вся эта утварь представляла для нас немалую ценность, но никто не присвоил ни единой вещицы. Там была одежда. Фотографии. Стулья. Деревянные украшения. Резные фигурки. Маленький столик. И книги. В жизни не видела столько книг — и еще подумала: отчего же мистер Уоттс не давал нам их почитать?

Всё сожгли дотла.

Этот второй костер полыхал сильней первого. Потому что деревянных предметов было больше. Затихнув, мы смотрели на языки пламени. Никто не открещивался от своей причастности, а Уоттсы не пытались потушить огонь. Не позволили себе ни проклятий, ни обвинений.

Мистер Уоттс, стоя перед костром, одной рукой обнял Грейс за плечи. Это было похоже на проводы. Хотя мистер Уоттс и не изображал из себя участника церемонии, одно его присутствие делало те события осмысленными и даже оправданными.

В этот раз солдаты хлынули из джунглей. Они окружили нас стремительно, по-кошачьи. Последним вышел их командир.

У многих были повязки, пропитавшиеся кровью. Некоторые пустили на эти повязки лоскуты своих рубашек. Было видно, что командир подхватил лихорадку. Кожа у него пожелтела. Если у солдат глаза были воспаленно-красные, то у него — желтые. Лицо покрылось испариной; он буквально истекал потом. Казалось, этот человек слишком изможден и болен, чтобы творить зло.

Мы опять выстроились в шеренгу, не дожидаясь приказа. Солдаты большей частью разбрелись кто куда; винтовки слегка покачивались у них за плечами. Я увидела, как один из них вошел в ближайшую хижину, расстегнул ширинку и справил нужду.

Все мы обернулись к командиру. Разве мог он промолчать, когда его подчиненные оскверняли наши жилища? Но командир либо не заметил, либо не стал связываться. Заговорил он бесконечно усталым голосом. Тут я заметила, что у него подгибаются ноги. Он был совсем плох.

— Несите лекарства и жратву, — потребовал он.

Отец Мейбл поднял руку и ответил за всех:

— Лекарств у нас не осталось.

Это была чистая правда. И еще это была плохая весть. Очень плохая. Должно быть, офицер запамятовал, как устраивал здесь костер, но теперь, судя по выражению лица, сообразил, по какой причине у нас не осталось лекарств.

Запрокинув голову, он вперился в синее небо. У него не было повода для злости. Отец Мейбл сообщил ему все, что нужно, ни словом не попрекнув за костер. И все же эта весть, казалось, его подкосила. Он устал быть самим собой: устал от службы, устал от этого острова, от нас и от своего офицерского долга.

Кто-то из подчиненных протянул ему ананас. Наверное, чтобы хоть как-то приободрить. Солдат держал спелый плод двумя руками, как подношение. Офицер кивком поблагодарил его и тут же отверг спелый плод взмахом руки. Когда он поднял на нас лихорадочный взгляд, мы уже знали, что за этим последует.

Он заговорил:

— В прошлый раз вы спрятали от нас человека. И поплатились за собственную глупость. Я решил дать вам время на размышление. Потому мы и ушли. Чтобы вы пораскинули мозгами. Теперь мы вернулись и задаем тот же вопрос.

Мама закрыла глаза, и в этот раз я последовала ее примеру. Потом я услышала только последнюю фразу:

— Мое терпение лопнуло, так и знайте.

Все умолкли. Тишина затянулась, и меня обожгло жарким полуденным солнцем. Где-то радостно закаркала ворона. Офицер приказал:

— Ведите сюда этого Пипа.

В деревне были люди, которые могли бы высказаться в нашу защиту. Например, мистер Уоттс, будь он там. Солдаты наверняка забыли, где стоит его дом. А может, поленились искать. Я знала, что Грейс слегла с лихорадкой; значит, мистер Уоттс выхаживал ее, не отходя ни на шаг.

Другим человеком, способным нас спасти, была моя мама. Но она не могла отдать книгу, тем более после первого пожара, который вспыхнул как раз из-за того, что она и в тот раз ослушалась приказа. Ну не могла она ее отдать, а я не могла пойти на предательство и привести солдат к отцовскому тюфяку.

В таких случаях молчание толпы становится тягостным. Чувство вины передается, как зараза. Передается даже тем, кто ни в чем не виноват. Многие затаили дыхание. Вернее, как я узнала впоследствии, многие сделали то же, что и мы с

мамой: закрыли глаза. Мы закрыли глаза, чтобы отстраниться от происходящего.

Я слышала, как на песок набежала игривая волна. Раньше мне и в голову не приходило, что океан может быть таким глупым и бесполезным.

— Пеняйте на себя, — вяло сказал офицер.

Можно было подумать, он произнес эти слова чуть ли не против своей воли. Словно кто-то тянул его за язык, не оставляя выбора. Как будто это мы были во всем виноваты.

Солдатам надо отдать должное. Они обставили поджог деревни с подобающей делу торжественностью. Не горланили. Не тратили патроны. И вообще все происходило не так, как вы думаете. Совсем не так. Они предоставили нам самим жечь наши хижины. Плеснув на дверь керосину, они пропускали вперед хозяев, чтобы те своими руками бросили зажженный факел. Моя мать поступила как все, но при этом понимала, что принадлежавшая мистеру Уоттсу книга «Большие надежды» будет навсегда утрачена.

Глядя, как огонь пожирает хижины, мы прощались с частью своей жизни. С неотъемлемой частью. До той поры мы об этом не задумывались. Теперь же некоторые из нас поняли, чего лишился мистер Уоттс. Люди, закрыв глаза, вспо-

минали вкус домашней стряпни, привычные запахи, семейные торжества, разговоры — порой суровые, порой важные, — то есть все, что бывает только под крышей дома. У кого-то из соседей вырвалось: «странная тишина». Это такая штука, которой, казалось бы, в деревне и быть не может. Тишина бывает в открытом море, а еще под вековыми деревьями, но когда сожгли твой родной дом — это совсем другая тишина, какая прежде была тебе неведома.

При первом пожаре у людей пропали памятные безделушки и любимые вещи: мячи, счастливые рыболовные крючки. А у меня — присланные отцом кеды. И открытки. На сей раз люди лишились своего угла. Как жить у всех на виду? Я тоже мучилась этим вопросом.

Оказалось, что даже самая простая хижина — это нечто из области грез и фантазий. Пусть в ней вечно открыто окно. Пусть дверь нараспашку. Главное — это четыре стены и крыша над головой. Они дают и защиту, и уединение.

Ночевали мы у дымящихся развалин. Так мы поняли, что без дома человек гол. Даже спать приходилось в одежде. И все же есть вещи, которые невозможно отнять, поджечь или застрелить. Мы дышали воздухом. Пили чистую воду из горных

ручьев. Собирали плоды. Разводили огороды. Нам даже оставили свиней. По какой-то счастливой случайности солдаты не заметили лодку, принадлежавшую отцу Гилберта. Она стояла где всегда — в пересохшем устье реки. Увидев ее накренившийся корпус, выкрашенный в голубой цвет, я испытала такое ощущение, будто у меня в груди запрыгали рыбы. Сети и снасти были для нас дарами небес. В борьбе за выживание мы одерживали маленькие, но важные победы.

Папа Гилберта вдруг преисполнился чувством собственной значимости. Сноровистый рыбак, он знал, как поставить сети и где в ночное время рыба идет косяком. Это чутье было у него от природы. Он мог рыбачить с закрытыми глазами, что его и спасало, потому как на лов он рисковал выходить только под покровом темноты. Завидев его лодку, патрульные бы тут же открыли огонь. Это точно — такое уже случалось в дальних прибрежных деревнях.

Угли тлели двое суток; теперь перед нашими взорами зияла пустота. Вскоре послышались удары мачете. Люди сновали в джунгли и обратно. Приносили копьевидные листья и длинные, оструганные ветки. Мужчины по двое таскали тяжелые стволы деревьев.

За неделю мы соорудили шалаши. Они не шли ни в какое сравнение с прежними жилищами. Ни тебе деревянной обшивки, ни половиц. Но мы довольствовались тем, что было. Шалаши приходилось буквально сшивать и сплетать. Как птицы вьют себе гнезда, так делали и мы.

Из двух построек, которые не погибли в огне, одной оказалась школа. Даже удивительно. Мама объясняла это тем, что школа — государственное имущество. Краснокожим не было резона ее уничтожать. Это все равно как стереть с лица земли часть Морсби. Другой нетронутой постройкой был дом мистера Уоттса. Мама и на это имела свой взгляд: мистер Уоттс был белым. А правительственные войска не причинят вреда белому человеку. Порт-Морсби во многом зависел от помощи австралийцев: те присылали к нам учителей, отряжали миссионеров, поставляли консервы; австралийские, а не чьи-нибудь вертолеты даже сбрасывали в море мятежников.

Никто не кинулся поджигать дом Уоттсов. Люди знали, что у Грейс лихорадка, но их останавливало не только это. Вероятно, по опыту прошлого раза все уже поняли, что от сожжения имущества мистера Уоттса никому лучше не будет.

Может быть, по той же причине родители не

запрещали детям и дальше посещать его уроки.

Но одно изменение все же произошло. Число учеников в нашем классе сократилось вдвое. Некоторые из старших мальчишек примкнули к мятежникам. А одна девочка по имени Женевьева, которую, как мне кажется, меньше всего интересовала учеба, равно как и книга «Большие надежды», ушла вместе со своими братьями и сестрами к родне, в горную деревню.

~~~

Первым делом мистер Уоттс поблагодарил нас за то, что мы пришли. Он и сам до последнего момента не знал, сможет ли дальше учительствовать. Миссис Уоттс серьезно болела. Тем не менее он был на месте, и мы тоже; пользуясь его выражением — почти как в старые добрые времена. Правда, теперь между нами небольшой, но серьезной преградой стояло все то, что мы потеряли сами и что своими руками отняли у мистера Уоттса и его жены. Мы прятали глаза, чтобы не встречаться взглядом с учителем. А его взгляд все чаще упирался в дальние углы потолка. Под взглядом мистера Уоттса мы начинали ерзать и рассматривать его руки. Мы готовы были услышать в его голосе обиду на несправедливость.

— Все мы лишились своего имущества, а многие вдобавок остались без крова, — сказал он. — Но эти потери, как бы ни были они тяжелы, заставляют вспомнить, что есть вещи, которых у нас никому не отнять: это ум и воображение.

Дэниел тут же поднял руку.

— Да, Дэниел?
~~~

— А где оно, воображение?

— Оно находится вот там, Дэниел.

Мистер Уоттс показывал куда-то за дверь; мы все повернулись в ту сторону.

— И вот здесь.

Под нашими взглядами учитель легонько постучал себя по виску.

— Закрой глаза, — обратился он к Дэниелу, — и очень тихо, чтобы никто не слышал, проговори свое имя. Для одного себя.

Я пересела за вторую парту, позади Дэниела, чтобы понаблюдать, как зашевелятся его щеки, когда он будет проговаривать свое имя.

— Нашел, Дэниел?

— Да, мистер Уоттс. Нашел.

— А теперь давайте все проделаем то же самое, — сказал мистер Уоттс. — Закройте глаза и молча повторяйте каждый свое имя.

Звучание моего имени отозвалось у меня в голове, где-то очень глубоко. Я уже знала, что слова способны уводить нас в другой мир, но еще не догадывалась, что с помощью одного-единственного слова, произнесенного только для своих ушей, можно перенестись в потайной, ото всех спрятанный закуток. Матильда, Матильда, Матильда. Я твердила это раз за разом. Повторяла

на все лады, даже по слогам, и стены потайного закутка раздвигались. Ма-тиль-да.

— И вот еще что, — сказал мистер Уоттс. — Никто за всю вашу недолгую пока еще жизнь не произносил вашего имени точно так же, как вы, когда проговаривали его про себя. Это — ваше. Ваш особый дар, которого никому не отнять. Тот же дар использовал наш друг и соратник Чарльз Диккенс, придумывая свои сюжеты.

Тут мистер Уоттс сделал паузу и обвел глазами учеников, чтобы проверить, не слишком ли он торопится и успеваем ли мы следить за его мыслью.

Я покивала, и мистер Уоттс продолжил.

— Так вот, когда в сентябре тысяча восемьсот пятьдесят восьмого года мистер Диккенс взялся писать «Большие надежды», первым делом он освободил место для голоса Пипа. Как он это сделал? Каждый из нас только что нашел у себя в голове маленький закуток, в котором наш голос звучит чисто и живо. Мистер Диккенс закрыл глаза и стал ждать, пока не услышал начальные слова.

Мистер Уоттс зажмурился, и мы тоже стали ждать. Наверное, это была проверка, потому что он внезапно открыл глаза и спросил, помнит ли

кто-нибудь эти начальные слова. Никто не помнил. Пришлось ему вспомнить за нас. Он снова закрыл глаза и начал по памяти читать строки, которые с той поры врезались мне в память не хуже моего имени. До самой смерти буду помнить услышанное в детстве от мистера Уоттса: *«Фамилия моего отца была Пиррип, мне дали при крещении имя Филип, а так как из того и другого мой младенческий язык не мог слепить ничего более внятного, чем Пип, то я называл себя Пипом, а потом и все меня стали так называть».*

В другое время нас бы только запутали все эти разговоры про голоса и тайные закутки. Но мы только что лишились крова и успели понять, что наши хижины хранили нечто большее, чем домашний скарб. Когда мы вечерами лежали в одиночестве на своих тюфяках, родные стены давали приют нашей глубинной сущности, невидимой постороннему глазу. Мистер Уоттс открыл нам, что приют для нее можно найти в другом месте. А дальше — заняться его обустройством.

Для этого у мистера Уоттса оказалось наготове необычное задание. Мы должны были восстановить «Большие надежды».

Не все знали, что такое «восстановить». Но даже когда значение слова прояснилось — благодаря

вопросу Дэниела, — мы еще сомневались, что правильно поняли. Ведь «Большие надежды» сгорели на костре. Из пепла книгу не восстановить. Наверно, мистер Уоттс подразумевал что-то другое.

— Восстанавливать будем по памяти, — сказал он.

Этим мы и занимались; не то что весь урок, а многие недели, если не месяцы. После того как сгорел мой карандаш вместе с календарем, я перестала вести счет времени. Один день бесследно перетекал в другой.

Мистер Уоттс посоветовал нам мыслить свободно. Не пересказывать события в строгой последовательности и даже в первоначальном виде, а просто вспоминать как вспомнится.

— Воспоминания могут прийти в неподходящий момент, — предупредил он. — К примеру, ночью. Сохраняйте в памяти каждую мелочь и приносите с собой в школу. Здесь мы поделимся тем, что вспомнили, и сообща восстановим события. Как будто так и было.

Совсем недавно мы и сами проделывали нечто подобное. Когда у нас еще были удочки и рыболовные сети, мы раскладывали улов на берегу и делили поровну. Теперь настал черед книги

«Большие надежды».

В тот день на уроке мы восстановили очень мало. Мыслить в одном направлении оказалось нелегко. Глянешь за порог — там вышагивает цесарка; переведешь глаза на мистера Уоттса — у него седые клочья из бороды торчат. Посторонние мысли отвлекали. Вспомнишь вкус мяса цесарки, подивишься, что мистер Уоттс так быстро стареет, — а другое уже из головы вылетело.

Когда у меня в памяти все же начали по кускам всплывать «Большие надежды», я находила эти подробности в разное время и в разных обстоятельствах. Чаще всего вечерами, когда хотелось погрузиться в другой мир, но не только. Сижу у моря, смотрю в никуда и вдруг безо всякой причины начинаю воображать, как мы с Пипом бредем в сторону Сатис-Хауса, который окутан мраком и паутиной и вечно глядит в прошлое, а не в будущее.

Тут я сразу вспомнила, как мне хотелось броситься на защиту Пипа. Мне не нравилось, как обращается с ним Эстелла, как измывается и сплетничает Сара Покет. Непонятно, почему Пип терпел обиды от этих двух вредин и ни разу им не ответил.

Ага. В моем распоряжении оказалось целых два

рассказа. Первый — про то, как мисс Хэвишем остановила все часы в доме на одном времени, минута в минуту, — я принесла в школу. Боясь, как бы приготовленный отрывок случайно не вылетел из головы, я решила не раскрывать рта. Даже отворачивалась от ребят, чтобы мой рассказ не вытеснили посторонние мысли и разговоры. Этот рассказ хранился у меня в закутке, который указал мистер Уоттс. Я поплотнее затворила туда дверь. Но не знала, насколько она прочна и что будет, если в нее станут ломиться чужие голоса.

В те же дни мистер Уоттс доверил нам, своим ученикам, одну тайну. Это случилось после того, как мы выслушали отрывок Силии — про то, как Пип возвращается домой, отдав Мэгвичу украденный у сестры паштет, и в кухне застает вооруженных солдат. Силия утверждала, что Пип терзается виной. Но при этом спрашивала себя вслух: с чего она вдруг решила, будто солдаты пришли арестовать Пипа. Насколько она помнила, в книге об этом не было сказано ни слова. Я всегда считала Силию отличной девчонкой, но сейчас ее прямо зауважала. Выходит, книга запала в душу не мне одной. Вопрос Силии показал, что ее ум тоже занимали «Большие надежды». А вместе с ними, наверно, и Пип.

Мистер Уоттс поблагодарил Силию. Ее рассуждения, сказал он, показали нам, что под влиянием печатного слова у читателя может сложиться интересное понимание параллельного мира.

— Спасибо, спасибо, — повторил он, и Силия расцвела от похвалы.

Потом учитель обратился ко всему классу:

— Как мы поступим с отрывком Силии? Как нам его сохранить в памяти?

Все загалдели. Начали тянуть руки, чтобы высказать свои предложения. Можно записать на песке палочкой — это была придумка Дэниела. Мы умолкли. Руку поднял Гилберт. Записи надо делать в секретном месте. Мистеру Уоттсу эта идея пришлась по душе. Он поднял указательный палец, чтобы мы обдумали предложение Гилберта.

— Секретное место — это хорошо. Если только оно будет *абсолютно* надежным, — предостерег мистер Уоттс.

Мы согласились.

— Пусть это будет *наша* тайна.

Всем стало ясно, где тут главное слово. Учитель вгляделся в наши лица, и мы отметили, что он совершенно серьезен. Я даже решила, что эта тайна, еще не до конца продуманная, связана с

какими-то опасностями.

— *Наша* тайна, — повторил он.

Погрозив пальцем, он полез в нагрудный карман пиджака и вытащил ученическую тетрадку. Она была сложена пополам, чтобы умещалась в кармане. Мистер Уоттс разгладил ее на столе и показал нам. Вслед за тем он другой рукой полез в другой карман и достал карандаш. Через много лет я смотрела телепередачу, где фокусник с таким же победным видом достал откуда-то белого кролика. У фокусника получилось неплохо, но он в подметки не годился мистеру Уоттсу, который вызвал у нас потрясение. Я не преувеличиваю: достаточно вспомнить, как мы жили. Но в глубине души каждый удивлялся: каким образом мистер Уоттс ухитрился спасти эти предметы от огня?

Мистер Уоттс улыбнулся, видя наши изумленные лица.

— На нас с вами возложена небывалая ответственность, — сказал он. — Небывалая ответственность. Спасти величайшее произведение мистера Диккенса, которое без нас с вами будет утрачено навсегда. — Он начал расхаживать по центральному проходу. — Мыслимо ли представить, что оно пропадет? Вдумайтесь. Потомки станут указывать на нас пальцем и винить за про-

пажу того, что надлежит беречь как зеницу ока.

Мы сделали подобающие лица. Торжественные. Серьезные.

— Ну, что ж, — сказал учитель. — Молчание — знак согласия. Запись номер один: рассказ Силии.

Вернувшись за учительский стол, мистер Уоттс начал писать. В какой-то момент он поднял голову, и нам показалось, будто он сбился; Силия даже привстала из-за парты. Но мистер Уоттс застрочил снова, и она села на место. Под конец он пробежал глазами написанное.

— Не знаю, правильно ли у меня записано, — сказал он. — Давайте-ка проверим.

И он прочел это вслух. Силия вспыхнула. Ни от кого не укрылось, что учитель добавил пару строк от себя. Он нашел глазами Силию. Та быстро кивнула, и мистер Уоттс облегченно вздохнул.

Дальше он стал оглядывать класс в поисках следующего рассказчика.

— Матильда, что ты для нас приготовила?

Пока я восстанавливала ту сцену, где Пип по склону холма поднимается в Сатис-Хаус, мистер Уот гс улыбался себе в бороду; не успела я договорить, как он уже склонился над тетрадкой и застрочил.

Но стоило мне перейти ко второму отрывку, как он отложил карандаш, поднял голову и отвел глаза. Вид у него был такой огорченный, что я потеряла всякую уверенность. Наверное, что-нибудь напутала.

— Безжалостные издевки Эстеллы над Пипом, — вымолвил он наконец. — Это важная сторона их отношений. Он тянется к тому, что для него недоступно.

Отодвинув стул, мистер Уоттс замолчал. Его выпученные глаза устремились к облюбовавшим потолок гекконам. Он резко встал и направился к дверям. Поглядел на сверкающую под солнцем зелень. Что он там нашел? Что захватило его мысли? Лондон? Австралия? Белые соплеменники? Родной дом?

Мы увидели, как он покивал, словно нашел то, что высматривал. Потом резко развернулся к нам лицом и уставился прямо на мою парту.

— Нам нужны слова, Матильда. Необходимо вспомнить, какие слова бросает Эстелла Пипу.

На меня оборачивались ребята с передних парт. По примеру мистера Уоттса они ждали, что я восстановлю слова. Но меня как заколодило. Хоть ты тресни, не могла я дословно вспомнить, что там Эстелла говорила Пипу, и мои одноклассники,

которые поняли причину моего замешательства, один за другим начали отворачиваться. Мистер Уоттс медленно вернулся за стол. Он смахивал на обреченного гонца, принесшего дурные вести.

— Должен вас предупредить, — выговорил он. — Это будет самая непростая часть нашей совместной работы. И в то же время очень важная. Мы должны всеми силами постараться вспомнить, какие именно слова один персонаж говорит другому. — Тут наш учитель, видимо, передумал. — Впрочем, если вы хотя бы изложите суть, это уже будет немало.

Суть. Это потребовало разъяснений. Мистер Уоттс выразился так:

— Допустим, я скажу «дерево». В моем понимании дерево — это прежде всего английский дуб. А для вас — пальма. И то и другое — дерево. И пальма, и дуб с равным успехом могут считаться деревьями, хотя они разные.

Вот, значит, к чему сводилась суть. Если не знаешь точного названия, подбери другое слово. Я увидела, как Гилберт почесал в затылке, но потом все же решился поднять руку.

— А дерево-каноэ тоже считается?

Сразу было видно: мистер Уоттс впервые такое слышит.

— Может быть, у него есть другое название, Гилберт?

— Да нет, просто дерево-каноэ, — сказал Гилберт.

Мистер Уоттс пошел на риск:

— Дерево-каноэ тоже считается.

Гилберт остался доволен.

На самом деле учитель не от хорошей жизни согласился, чтобы мы излагали самую суть. Я-то знала, что нужно ему совсем другое. Ему требовались точные слова. Но чем усердней я напрягала память, тем дальше от меня уплывали жестокие слова Эстеллы, брошенные Пипу. Мне мешал солнечный мир: он сбивал с мысли и глумился над моими стараниями.

Мама запрятала подальше свою вину и разговорилась. Будто желая наверстать упущенное, она завела старую песню: без умолку поносила мистера Уоттса и обзывала его Лупоглазом.

Лупоглаз. Все свое презрение вложила она в эту кличку. Лупоглаз твой будет стоять, как столб, под кокосовой пальмой, не веря, что с нее может упасть кокос, и поверит лишь тогда, когда кокос свалится ему на башку. Такой и луну-рыбу съест, не поперхнется. Ума-то нету. Он хоть знает, как бородавчатка выглядит? Невежество делает его

опасным человеком. А ты, Матильда, этому опасному человеку в рот смотришь. Право слово, мир сошел с ума. Твой мистер Уоттс хижину построить сумеет? Сумеет сесть на весла и в потемках подобраться к рифу, когда рыба-попугай косяком идет? Да твой мистер Уоттс вместе с женушкой проедаются за чужой счет. Сам-то он — никто, ничто и звать никак.

Раньше я бы убежала, чтобы только не слышать нападок на мистера Уоттса, но теперь прислушалась. За этими издевками скрывалась Эстелла. Я не отходила от матери ни на шаг, как голодная собачонка, которую поманили объедками. Потащилась за ней из нашего убогого жилища в огород, потом к ручью, и в конце концов она сама меня шуганула. Стала по-всякому унижать. Впилась, мол, как москит. Как клещ в собачью задницу.

— Что это с тобой, дочка? Разве у тебя нет тени, чтобы с ней играть?

До сих пор ее слова отскакивали от меня, как горох. Но последняя фраза меня зацепила. *Разве у тебя нет тени, чтобы с ней играть?* Я заулыбалась. Хотела ее поблагодарить, но не знала как. Подошла, чтобы обнять, но мама, разгадав мои намерения, отступила назад. И заслонилась

руками, как от демона. А я боялась раскрыть рот, чтобы ее слова не вылетели вместе с другими. Я превратилась в птичку, зажавшую в клюве червяка.

И помчалась к дому мистера Уоттса со своим отрывком. Все мысли были только о том, как бы его не обронить. Пробежав мимо школы, я ступила на полузаросшую тропу. Мистеру Уоттсу многие пеняли, что он запустил свой участок. Не только моя мама. Но когда все остальные жилища сгорели дотла, я стала думать, что мистер Уоттс не без умысла сделал так, чтобы сад у него совсем одичал и заглох: получалось, что в конечном счете он оказался умнее всех.

На подходе к учительскому дому я почувствовала себя в чем-то похожей на Пипа, который приближается к Сатис-Хаусу. Я тоже нервничала, у меня тоже сосало под ложечкой. Но Пип хотя бы получил приглашение от мисс Хэвишем. Оставалось уповать на то, что мистер Уоттс не рассердится за мое вторжение. Я надеялась, что его смягчит возложенная на нас ответственность, особенно когда он оценит качество моего отрывка.

Когда впереди показался дом, я невольно остановилась от нахлынувших воспоминаний.

Деревянные ступени, коньки крыши, деревянная дверь. Это были прекрасные отголоски внешнего мира.

Взбежав по лестнице на небольшую веранду, я сунула нос в полуприкрытую дверь и увидела просторную комнату. С этой стороны дома ставни были частично подняты, и на деревянные половицы легла широкая, зыбкая дорожка. В углу я разглядела миссис Уоттс. Она лежала на тюфяке. Ее почти полностью загораживал мистер Уоттс. Опустившись на колени, он гладил свою больную жену по голове и прикладывал ей ко лбу смоченную в воде тряпочку.

Мой взгляд жадно выхватил два вентилятора: один крепился к потолку, другой стоял на полу (оба, естественно, не работали). На дальней скамье я заметила большую банку мясных консервов. Я уж забыла, когда в последний раз видела такие консервы — или любые другие. Неважно, как давно это было; важно, что я ни на минуту не смогла бы представить, что настанет день, когда обыденная вещь, вроде этой жестянки, сделается знаком смутной надежды.

Скрывая свое удивление, я шагнула через порог. У меня больше не было сил держать в себе подготовленный отрывок. Створки двери распах-

нулись, и я выпалила:

— *Разве у тебя нет тени, чтобы с ней играть?*

Мистер Уоттс медленно повернул голову, и я тотчас же поняла, что совершила оплошность, заявившись к нему в дом. Вопреки моим ожиданиям, он был вовсе не рад меня видеть, да и отрывок мой не произвел того впечатления, на какое я рассчитывала. Он вопросительно смотрел в мою сторону.

— Это суть, — объяснила я. — Так Эстелла говорит Пипу.

Я уже знала за мистером Уоттсом эту привычку: он надолго умолкал, подходил к открытой двери класса, как будто за порогом лежали все ответы, и в зависимости от того, что сумел высмотреть, объявлял наши шальные догадки правильными или неправильными.

Вот и сейчас я ждала, ждала, и в конце концов он, как мне показалось, огромным усилием заставил себя превратиться в учителя и сказал — по-прежнему без воодушевления и убежденности, которых я так жаждала:

— Полагаю, в общих чертах это верно, Матильда. — Он посмотрел в потолок. — Да, думаю, верно.

Только сейчас я с грехом пополам распознала,

что в голосе у него сквозит уныние, но печали на лице так и не заметила. От его равнодушия меня захлестнула досада. Мистер Уоттс задержал на мне взгляд, и я подумала, что он ждет продолжения.

— Может, запишешь это, Матильда?

Он указал глазами на свисавший с крючка пиджак. Вблизи и в отдельности от мистера Уоттса пиджак выглядел несвежим; я заметила, что он едва ли не лоснится от грязи. С изнанки он оказался даже склизким на ощупь. Я достала тетрадь и карандаш. А потом, опустившись на коленки, стала выводить свою запись пониже рассказа Силии.

Долгие месяцы я не держала в руках карандаша и бумаги. Меня не слушались те пальцы, которые отвечают за письмо. Я утратила этот навык. Буквы прыгали в разные стороны.

Наверное, мистер Уоттс подумал, что я слишком копаюсь, потому что он меня окликнул:

— Матильда, когда закончишь, положи, пожалуйста, тетрадь в карман пиджака. И карандаш туда же.

Я посмотрела в ту сторону, откуда доносился голос, и попыталась понять, с чего в нем появилась такая усталость. Глаза миссис Уоттс были не

видны. Их накрыла рука мистера Уоттса. Дописав свой отрывок, я вернула тетрадь и карандаш в означенное надежное место и ушла, тихонько прикрыв за собой дверь.

~~~



Я не стала рассказывать маме, что заходила к Уоттсам. Она бы назвала такое посещение предательством. Если я и считала себя сторонницей мистера Уоттса, это вовсе не означало, что надо лезть на рожон. Я понимала, где пролегает граница, и старалась ее не нарушать.

А кроме того, краем глаза я изредка замечала не чью-то там маму, а некую женщину по имени Долорес, которая была сама по себе.

Однажды на рассвете я украдкой подглядела, как она в одиночестве стоит на берегу лицом к морю; судя по неподвижности ее плеч, она что-то высматривала. А может, то, что она искала, качалось на приливной волне надежды у нее в сердце, а не маячило в огромном и непостижимо-синем
~~~

океанском небе, отделявшем нас от мира.

Возможно, если бы мы умирали с голоду, внешний мир нас бы не бросил. Оказал бы нам гуманитарную помощь. Но ведь мы и сами могли прокормиться. У нас были огороды, на деревьях зрели фрукты, а отец Гилберта, покуда лодка оставалась при нем, обеспечивал всю деревню рыбой.

С секретами мы расстались в последнюю очередь. Родители бросили скрывать от нас вести, доходившие до их слуха. Им уже было все равно. Скрытность требует усилий, но стоило ли зря стараться? Что толку, если ждать больше нечего? Мы, по существу, вернулись к тому состоянию, в каком человек, согласно Библии, пришел в этот мир.

Мылись в ручье. Ходили босиком. Сквозь плетеные крыши встречали звезды, солнце и ливень. Спали на кучах песка, который пригоршнями натаскали с берега. Зато не страдали от холода — и от неудобств, кстати, тоже. Тягостней всего была вечерняя скука.

Мамина Библия, переложенная на пиджин, сгорела; вечерами я пыталась вызвать в памяти «Большие надежды», а мама — Библию. Когда в темноте мама начинала бормотать, мне прихо-

дилось откатываться от нее подальше и затыкать уши, чтобы собраться с мыслями.

В школе было проще. Почему-то всякий раз, когда кто-нибудь рассказывал свой отрывок, мне тут же вспоминался соседний с ним, который шел до или после. С другими ребятами происходило то же самое. По мере того как множились наши записи, мне открывалось, что Виктория, Гилберт, Мейбл и даже Дэниел не меньше моего размышляли о «Больших надеждах». После того как мистер Уоттс прочел вслух мой отрывок про то, как Пип приближается к дому мисс Хэвишем, Гилберту вдруг пришел на память мистер Памблчук. Правда, Гилберт называл его «лягушка-бык»; это Виктория подсказала фамилию Памблчук, а теперь и Вайолет как бешеная трясла рукой. Она тоже что-то вспомнила. Не мистер ли Памблчук привел Пипа в ратушу, чтобы по всем правилам определить его в подмастерья к кузнецу Джо Гарджери?

Мистер Уоттс заулыбался. Наши успехи радовали его чуть ли не больше, чем нас самих. Мы расшумелись от возбуждения. Время от времени учителю приходилось жестом просить нас рассказывать помедленнее, чтобы он успевал занести очередной фрагмент в тетрадь. Под каж-

дым отрывком стояло имя рассказчика.

Лежа без сна, я пыталась обозначать словами все услышанные в потемках звуки. Брачный зов бронзовой кукушки. Ленивый плеск моря — ночью сильней, чем днем. Какой-то резкий крик, перекрывающий нудное кваканье лягушек. Затрещина, отвешенная мальчишке за то, что балуется или просто не спит. Тихий, блеющий смех старика. Мамина бессонница.

— Слышь, Матильда? — Это был даже не шепот. Мама намеревалась меня разбудить. — Не спишь? — выдохнула она мне в лицо и потеребила за локоть. — Хочу тебе кое-что сказать.

Мне не сразу пришло в голову, как бы получше ответить. Понятное дело, я не спала, но признаваться в этом было не с руки. Именно в этот момент я вспоминала, как на болотах, в родном краю Пипа, объявился мистер Джеггерс. И пыталась восстановить в памяти, что почувствовал Пип, когда узнал о выпавшей на его долю удаче. Я уже вплотную приблизилась к ответу, когда мама продолжила, и ее слова вдребезги разбили мою мысль:

— Может, конечно, ты знаешь. Грейс Уоттс умерла.

В час, когда, вероятно, даже птицы еще не проснулись, я услышала мужские шаги. Мимо нашего с мамой шалаша двигался отец Гилберта, а за ним еще какие-то мужчины, постарше. Я увидела их только со спины, когда они огибали школу. На склоне холма они вырыли могилу для миссис Уоттс. Лопат у них не было. Чтобы разрыхлить твердокаменную почву, они прихватили колья и мачете. А дальше копали голыми руками, выбрасывая землю из ямы сломанным веслом.

Когда настал час похорон, мы все — дети, старики, все, кто мог ходить, — пришли на склон, чтобы поддержать мистера Уоттса. Помню мягкую поступь босых ног и общее молчание. Помню влажный воздух с запахом леса и журчанье ручья, падающего в зеркальное озерцо. Мир занимался своими делами.

Мы, дети, могли беспрепятственно разглядывать учителя. Нам не пришлось угадывать, о чем он думает и печалится, потому что мистер Уоттс не отводил глаз от могилы. Пришел он в своем неизменном костюме и в той же белой рубашке, что и всегда. Рубашку он постирал, а высушить не успел. Через мокрый ситец местами просвечивала розовая грудь. Он повязал зеленый галстук, которого мы прежде не видели. На ногах

у него были носки и ботинки. Лицо покрывала смертельная бледность. Когда он склонил голову над лежавшей на земле миссис Уоттс, на грудь ему свесилась чистая борода.

Миссис Уоттс была с ног до головы запелената в какие-то циновки, неизвестно как изготовленные женщинами. Я увидела, что Гилберт из любопытства обошел вокруг ее головы. Заметив мой взгляд, он тут же стал смотреть в другую сторону. Но злилась я не на Гилберта. Я злилась на себя. Не могла избавиться от мысли, что миссис Уоттс во время моего непрошеного появления в учительском доме уже, наверное, лежала мертвая. Значит, все то время, что я, опустившись на коленки, тщательно и гордо выводила в тетради свой отрывок, она лежала мертвая? Сгорая со стыда, я вспоминала, как разобиделась, что мистер Уоттс оказался скуп на похвалу. Бедный мистер Уоттс. Невыносимо было об этом думать. Когда я подняла голову, Гилберт поймал мой взгляд и сказал мне что-то одними губами.

Я обвела взглядом толпу собравшихся. На жаре мужские лица истекали потом. Женщины скорбно смотрели на миссис Уоттс. Когда с высокой верхушки дерева упала отломившаяся веточка, никто и бровью не повел. А между тем веточка

эта прилетела к нам как напоминание, что пора бы сказать какие-нибудь слова. И тут я услышала, как моя мама стала молиться за упокой души Грейс. Молитву она завершила не с первой попытки. В одном месте сбилась. Закрыла глаза, прикусила губу и рылась в памяти, пока не нашла недостающие строки. И худо-бедно довела дело до конца.

Когда молчать дальше было уже неприлично, мистер Масои попросил мою маму сказать молитву еще раз. Теперь она проговорила ее уверенно, с открытыми глазами. Мистер Уоттс кивнул и беззвучно сказал «спасибо». Кто-то вспомнил пропущенную строчку «…прах к праху…», но она повисла в воздухе. Мы опять умолкли.

Все понуро выжидали, и тут зазвучало: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма… над бездною…» Миссис Сип тоже сбилась. Когда мистер Уоттс кивком поблагодарил ее, она встрепенулась:

— Нет. Погодите!

Она почти что сорвалась на крик, и все неодобрительно нахмурились: как можно шуметь над мертвым телом?

— Нет, — повторила она, успокаиваясь, и опустила руку. — Я сказать хочу. Вот что я хочу сказать…

Ей пришлось подождать, пока мистер Уоттс не поднял свое горестное бледное лицо.

— Я знала Грейс с детства. Вот с таких лет.

Она провела рукой на уровне колена. И стала искать глазами мою маму.

— Точно, — подтвердила мама. — Мы вместе в школу бегали.

— Нас монахини учили. Немки, — добавила другая.

— Мистер Уоттс, — отважилась мама Мейбл. — Ваша Грейс была самая умненькая из всех девочек.

Мистер Уоттс только и пробормотал:

— Спасибо.

Теперь заговорил один из стариков:

— Я еще матушку ее помню. Тоже была красавица… — Не поднимая головы, он, как видно, упивался полузабытыми воспоминаниями о женской красоте.

Тут и других прорвало. Люди наперебой делились с мистером Уоттсом обрывками воспоминаний. Дополняли портрет его покойной жены. И он многое узнал о девочке, которую не встречал никогда в жизни. Эта девочка могла дольше всех плавать под водой без воздуха. Эта девочка лихо болтала по-немецки с монашками. А совсем

крохой эта девочка потерялась. Искали ее всем миром. И где же нашли? Под остовом лодки — лежала себе как ни в чем не бывало. Спряталась от жары этаким пухлым крабиком. От этих слов мы покатились со смеху, но тут же одумались.

Люди припоминали и важные подробности, и всякие пустяки. Мистер Уоттс не отмахивался ни от какой мелочи. Он услышал, какого цвета бантики носила школьницей его покойная жена. Узнал, как она лишилась переднего зуба. Дело было так: растянувшись поверх каноэ, она вообразила себя рыбой, а тут как на грех нос лодки дернулся вверх и дал ей по губе. Еще он узнал, как она гордилась, получив в подарок туфельки. Так гордилась, что всюду таскала их с собою под мышкой, а бегала все равно босиком.

Мистер Уоттс выпрямился. Слегка приоткрыл рот. Я подумала, он вот-вот рассмеется. Мы, дети, все на это надеялись. В итоге он ограничился улыбкой. Но голову-то все же поднял. Это, как мы считали, было уже неплохим заделом на будущее. А сейчас он обводил взглядом верхушки деревьев и ничуть не смущался, что в глазах у него стояла влага. Поначалу мне казалось, что мистер Уоттс желал бы лечь в землю вместе с женой, но теперь, как видно, решил, что с нами ему будет лучше.

Его убедили в этом наши обрывочные рассказы. Они были подобны хворосту, подброшенному в затухающий очаг. Мы бы дорого дали, чтобы эта тонкая улыбка не сходила с его бледного лица.

Мистер Масои вспомнил, как Грейс с вытаращенными глазами носилась по берегу, когда ей в палец впился рыболовный крючок. Дэниел, которого тогда еще на свете не было, захлопал в ладоши и объявил, что тоже помнит миссис Уоттс маленькой девочкой:

— Она раз полезла на дерево, а я за ней.

Тут все взгляды устремились на мистера Уоттса: что он подумает?

— Спасибо тебе, Дэниел, — сказал учитель. — Спасибо за это прекрасное воспоминание. — Он и всех остальных благодарил точно так же.

Рассказам не было конца и края, но в какой-то момент мистер Уоттс поднял руки.

— Спасибо всем. Спасибо за ваши добрые слова. Надо же, сколько воспоминаний, — произнес он. — Моя дорогая Грейс. Теперь она знает, что ее любили.

Он умолк. Я ожидала, что он добавит «несмотря ни на что». Сколько я помнила, у нас в деревне Грейс Уоттс была как бельмо на глазу. Она жила с белым, которого наши родители не слишком

привечали. А чего стоило ее катанье в тележке, которую тащил за собой мистер Уоттс, нацепивший красный клоунский нос. Мы не понимали таких причуд, терялись в догадках и для простоты считали, что миссис Уоттс — юродивая.

Моя мать приберегла свои воспоминания на потом. Она не стала выкладывать их у свежевырытой могилы миссис Уоттс. Мне одной довелось их услышать, и случилось это вечером того же дня, после похорон. Лежа на спине, мама глядела вверх, на худую кровлю, подпиравшую темноту.

— Знаешь, Матильда, в детстве Грейс была из всех самой смышленой. Всегда руку тянула. Такая умница, куда там. Все знала, на лету схватывала. У некоторых это в крови. Прямо ходячая энциклопедия. Или словарь. Шесть языков. Уж не знаю, как такое возможно, а вот поди ж ты. И когда она получила стипендию, чтоб ехать в Австралию учиться, мы были за нее рады-радешеньки. Пусть, думали, поедет да покажет всем белым, какие бывают умные чернокожие девочки. Отправили ее в город Брисбен, в среднюю школу. Позже до нас дошли слухи, будто она в Новую Зеландию переехала, чтоб на зубного доктора выучиться. А потом вернуться сюда и нам зубы лечить. Уж как мы по ней соскучились. А приехала — не узнали.

Мама сделала паузу, ясно давая понять, что перемена была далеко не к лучшему. Я подумала, что о дальнейшем она умолчит из соображения приличий. Но нет, мама просто собиралась с духом, перед тем как выложить самое неприятное.

— Зубного доктора из нее не вышло — она так и сказала. Недоучилась, мол. И привезла с собою не медсестру, а Лупоглаза. Стипендию пустила на то, чтобы белого заарканить. Мы языки проглотили, не знали, как с нею рядом стоять. И еще, Матильда. Никто не догадывался, насколько Грейс больна. Мы вообще перестали понимать, черная она или белая. Вот так-то. Больше я ничего не скажу, потому как она уже в могиле.

Мамина рука с глухим стуком упала между нами на земляной пол. Через несколько мгновений я услышала ее тяжелое сонное дыхание.

~~~

Я понятия не имела, долго ли мистер Уоттс пробудет в трауре. Некоторые из моих одноклассников боялись, что он уединится в четырех стенах и будет жить отшельником, как мисс Хэвишем. Но как ни удивительно, через три дня ко мне прибежал Гилберт, которого послал не кто иной, как мистер Уоттс, — выяснить, почему я прогуливаю.

В школе мистер Уоттс ничем не напоминал подавленного, убитого горем одиночку, стоявшего над могилой Грейс. Он подождал, когда все рассядутся. Его улыбка будто говорила, что траур закончился. Когда в классе воцарилась тишина, мистер Уоттс поднял указательный палец.

— Помните ту сцену, когда у ворот дома мисс Хэвишем Пипа встречает пренеприятная особа — Сара Покет?.. — Он вгляделся в наши лица, чтобы хоть у кого-нибудь найти отклик. — Я вижу, все помнят. Сара Покет сообщает Пипу, причем весьма резко, что Эстелла уехала за границу: получает образование и воспитание, подобающее молодой леди. Все ею восхищаются, говорит она бедному
~~~

Пипу. Вылив на него этот ушат холодной воды, Сара Покет спрашивает: чувствует ли он, что потерял ее? Конечно, чувствует. А как же иначе?

Учителя мы всегда слушали со вниманием. Все сидели смирно. А сейчас тишина стала глубокой, точно омут. Мы не то что присмирели, а замерли.

Как мыши, напуганные приближением частых кошачьих шажков. Нам померещилось, будто речь зашла о миссис Уоттс. Вроде бы ему было больно за Пипа, которого заставили страдать, но получалось, что эта боль — от его собственной утраты. Мы ждали, когда же он выйдет из темницы скорби. И у нас на глазах мистер Уоттс начал просыпаться. Он поморгал и с радостью увидел перед собой всех нас.

— Итак. Что мы имеем?

Поднялся лес рук. Включая мою. Все жаждали отвлечь мистера Уоттса от мыслей о смерти жены.

В последующие дни мы усердно выискивали в памяти обрывки исчезнувшего мира. Даже глядели с прищуром.

— Что с вами такое, негодники? — допытывались матери. — Солнце глаза слепит?

Естественно, маме я ничего не рассказывала

про нашу классную работу. Она бы меня осадила: «Этим рыбу не выловишь и банан не очистишь». Действительно. Только мы не нацеливались на рыбу и бананы. Мы нацеливались на нечто большее. На другую жизнь.

К тому же мистер Уоттс еще раз напомнил про возложенную на нас ответственность и при этом нашел такие слова, что мы невольно подтянулись. Нашим долгом было спасти величайшее произведение мистера Диккенса, обреченное на гибель. Мистер Уоттс теперь и сам трудился наравне со всеми, превосходя нас — что неудивительно — своими достижениями.

Стоя перед нами, он будто от себя требовал, чтобы Пип *«получил воспитание джентльмена, иначе говоря — воспитание молодого человека с Большими Надеждами»*.

Мы слушали Диккенса. И ликовали. Мистер Уоттс ухмылялся в бороду. Он только что выдал нам целую фразу. Слово в слово. В точности как было у мистера Диккенса. Разве могли с этим сравниться наши вымученные, полубессвязные отрывки? Он обвел взглядом восторженные физиономии.

— Помните, кто произносит эти слова?

За всех ответил Гилберт:

— Мистер Джеггерс.

— Мистер Джеггерс… он кто?

— Стряпчий!

Заслышав хор наших голосов, мистер Уоттс улыбнулся.

— Вот именно, — подтвердил он. — Мистер Джеггерс, стряпчий.

Я зажмурилась и аккуратно сложила эти слова в свою черепную коробку: *…воспитание джентльмена… иначе говоря… воспитание молодого человека… с большими надеждами.* Каким-то чудом я тоже вспомнила целое предложение. И стала трясти поднятой рукой, чтобы привлечь внимание мистера Уоттса.

— Да, Матильда?

— «Мои мечты сбылись».

Учитель направился к дверям. Там он застыл, а я томилась в ожидании. Вскоре он закивал, и у меня отлегло от сердца.

— Пожалуй, — сказал мистер Уоттс. — Да. Примерно так. А теперь вспомним следующую сцену. Мистер Джеггерс излагает определенные условия. Во-первых, Пип должен навсегда сохранить фамилию Пип. Во-вторых, имя его благодетеля должно остаться в глубочайшей тайне.

Дэниел стал тянуть руку, но мистер Уоттс

предугадал его вопрос.

— Ах, да. Благодетель. Ну, это тот, кто обеспечивает или одаривает какого-нибудь человека.

— Благодетель — это как дерево?

Мистер Уоттс не согласился.

— Понимаю, Дэниел: тебе на ум, очевидно, пришло пальмовое масло, но такой ход мысли нас слишком далеко заведет. Скажем так: благодетель — это тот, кто дает другому человеку деньги и открывает перспективы…

Нас выдали наши лица.

— Открывает перспективы. То есть возможности, — пояснил мистер Уоттс. — Как открывают окно, чтобы дать возможность птичке вылететь на свободу.

У нас были разные способы исчисления времени. Можно было, например, высчитать, сколько дней прошло с того дня, когда краснокожие нашими руками сожгли деревню. Или с того дня, когда заполыхал первый костер. Те, к кому жизнь была еще более немилосердна, могли вести отсчет от того дня, когда малярия отняла у них ребенка. Некоторые так и не смогли отрешиться от этого дня. Если поднапрячься и не отвлекаться, я, пожалуй, сосчитала бы, сколько дней тому назад в последний раз видела отца.

Глядя на небольшой белый самолет, он стоял на краю взлетной полосы и делал вид, будто не имеет ничего общего со своим видавшим виды коричневым чемоданчиком, в котором лежали один банан и одна фотография, изображавшая нас с мамой. Об отце мама почти не упоминала. Видно, думала, так будет легче и мне, и ей. Не сомневаюсь, что в ее мыслях он занимал даже больше места, чем восстановление отрывков из Библии. Но вслух она всегда заговаривала о нем с укором и только в тех случаях, когда что-нибудь у нас шло наперекосяк. «Отцу-то что, он этого не видит», — приговаривала она.

После того как мистер Уоттс предъявил нам фрагмент о перемене в судьбе Пипа, я сообразила, что и в папиной судьбе принял участие человек, похожий на такого вот мистера Джеггерса. Отец прослышал, что медному руднику требовались мужчины, способные управлять грейдером и трактором. Грузовики, что бегали извилистыми дорогами по склонам Пангуны, перевозили пустую породу от рудничного забоя в отвал. Работу мой отец получил: на грузовике он доставлял оборудование и запчасти со склада в Араве.

Через полгода отца назначили кладовщиком. Мама говорила: это потому, что он пользовался

доверием. А краснокожим белые не доверяли. У тех была круговая порука, а когда их припирали к стенке, они округляли глаза и все отрицали. Во всяком случае, мама говорила именно так.

На новой должности отцу пришлось больше общаться с белыми австралийцами. Он свободно владел английским. Я это знаю доподлинно, потому что однажды приехала к нему в Араву и сама видела, как он болтал и смеялся с австралийцами. Белые ходили в шортах и в носках, отращивали усы, носили темные очки. У них были толстые животы. Мой папа старался им подражать и даже выпячивал живот. Взял привычку стоять руки в боки, отчего делался похожим на чайник. Но когда я заметила его фальшивую улыбку, улыбку белого, мне все стало ясно. Не знаю, может, я просто дочь своей матери и потому так говорю. Но я до сих пор не могу забыть увиденного. Я видела, как папа от нас отчуждается.

Тем человеком, который сыграл в папиной судьбе роль мистера Джеггерса, стал его начальник, горный инженер, один из многочисленных контрактников. Он приехал из Австралии, но имя носил немецкое. Я слышала, как мать с отцом его обсуждали. Отец называл его «мой друг». Мама сказала, что этот друг его спаивает. Так оно и бы-

ло. Мама еще добавила, что натерпелась позору на всю жизнь, увидев мужа на скамье подсудимых, куда он угодил за нарушение общественного порядка. Других доказательств ей не требовалось. Он стал спиваться, когда получил должность кладовщика. В частности, по этой причине мама отказалась от переезда в Араву. Она не желала видеть, как мой отец превращается в белого.

Помню, она немного смягчилась, когда он привез вести из Пангуны. Обстановка на шахте стала очень серьезной и, похоже, ухудшалась с каждым днем. Ситуация вышла из-под контроля, когда повстанцы похитили динамит, используемый в горном деле, и начали взрывать дороги. Прошло еще немного времени. Мы узнали, что повстанцы вооружены до зубов. После Второй мировой войны японцы оставили на острове тайные склады оружия. По слухам, повстанцы взялись за реставрацию винтовок. Поговаривали, что в джунглях действуют подпольные оружейные мастерские, откуда винтовки выходят как новенькие. А вскоре мы узнали, что на склонах Пангуны обстреливают самосвалы.

К тому времени, когда на остров были брошены правительственные войска, мы уже наслушались таких вестей, что сами поняли, к чему идет дело.

Белые вот-вот побегут с острова, а солдаты начнут сжимать кольцо вокруг мятежников. Рудник вскоре закроется. Работы не будет. Денег тоже. Тут человек с немецкой фамилией предложил моему отцу — и нам с мамой — такой выход. Он вызвался стать гарантом моего отца. Именно так и сказал — гарантом. Минуло немало лет, прежде чем для меня прояснилось значение этого слова. Помню, я спросила мистера Уоттса, и он предположил, что это нечто вроде приемного отца. Если вспомнить, что именно обещал белый человек и как мой отец подлаживался под австралийцев, то самое и выходило.

Я попыталась нарисовать себе обстоятельства папиной жизни в Таунсвиле. Ориентиром для меня служила диккенсовская Англия. Я задумывалась, есть ли в Таунсвиле нищие. Дымят ли трубы, орудуют ли воришки-карманники, не перевелись ли добрые души вроде Джо Гарджери, которого запросто можно принять за пьяницу, если судить только по его косноязычным речам. Я гадала, не появилось ли у отца брюшко. Пьет ли он пиво, носит ли шорты, улыбается ли кривой собачьей улыбкой. Беспокоилась, не забыл ли он нас — свою Матильду и ее маму. Воображала школу, в которой могла бы учиться, доведись нам

уехать до начала блокады. Но не продвинулась в своих фантазиях дальше классной комнаты, как две капли воды похожей на ту, которая заполняла собой мою жизнь. Да и к Таунсвилю я подошла не ближе, чем позволяли рассказы мистера Уоттса и мистера Диккенса.

Теперь мать спала и видела, как бы перебраться к отцу. Но это были пустые мечтания, ибо в маминой жизни так и не появился свой мистер Джеггерс. На острове мы оказались как в мышеловке, без малейшего шанса выбраться.

У видев свою мать на берегу, я поняла, о чем ее думы: единственный путь за пределы такой жизни — это море. Вот оно, тут, что ни день, лениво плещется, указывая нам дорогу.

Но мистер Уоттс, побуждая нас перенестись в другие пределы, имел в виду не Австралию и не Морсби. И даже не другую часть острова. Он имел в виду Англию девятнадцатого века из книги «Большие надежды». Мы прорывались туда не без его помощи, каждый со своим фрагментом, а мистер Уоттс, как рулевой, отбирая главное, прокладывал более или менее последовательный курс.

К нашему общему делу я подходила очень ревностно. Носом землю рыла, чтобы опередить

ребят по числу восстановленных фрагментов. Так я доказывала себе самой, что мне, Матильде, Пип намного дороже, чем кому бы то ни было.

Отчетливо помню, при каких обстоятельствах я вспомнила каждый из своих фрагментов. Других, самых обыкновенных, привязок ко времени у меня не осталось. Ведь блокада отняла у нас не только лекарства и свободу: она лишила нас времени. На первых порах об этом почти не задумываешься. А потом в голову лезет: почему-то давно никто не праздновал день рождения.

Теперь я научилась куда надежнее сохранять свои фрагменты. Мне уже не потребовалось бежать к мистеру Уоттсу, когда я вспомнила сцену, где Пип на рассвете уходит из родной деревни навстречу новой жизни в городе Лондоне. Вместо этого я уселась на берегу, под пальмой, и внимательно разглядела все происходящее. Джо сердечно прощается с Пипом. Бидди утирает глаза передником. Но Пип уже шагает прочь. Он смотрит в будущее. *«Теперь возвращаться было уже слишком поздно и слишком далеко, и я не вернулся…»* Ну вот, я восстановила еще одну строчку, написанную мистером Диккенсом.

Надвигались сумерки. Если взять палочку и для верности написать этот фрагмент на песке,

то перед школой можно было бы забежать сюда и освежить его в памяти. Так я и сделала. Наутро, пока мама еще спала, пока никто не увидел, не украл и не переиначил эти слова, я помчалась на берег, чтобы забрать свой отрывок.

В предрассветный час мир сер и медлителен. Даже морские птицы довольствуются тем, что разглядывают свое отражение. Но если приглядеться, можно заметить нечто такое, чего в другой час не увидишь. Так меня всегда наставляла мать. Ступай на берег, пока мир еще не проснулся, и найдешь Бога. Бога я, правда, не нашла, зато увидела, как в дальнем концы пляжа двое мужчин вытаскивают на берег лодку. Несмотря на столь ранний час, двигались они очень быстро. Один из них, определенно, был мистер Уоттс. Другой, более плотного сложения, — отец Гилберта. У меня на глазах эти двое поволокли лодку в сторону пересохшего речного устья. Они поторапливались. Намеревались управиться до рассвета. Чтобы остаться незамеченными. Я и сама не хотела выдавать мистеру Уоттсу, где хранятся мои записи, а потому стала ждать, пока мужчины скроются за деревьями.

Наконец-то единственным звуком в утренней тиши осталось шуршанье песка у меня под но-

гами. Найдя фразу мистера Диккенса, я закрыла глаза, повторила ее по памяти и только тогда стерла без следа.

Как-то раз, уже в послеполуденное время, я направилась к ручью, где наши стирали белье, и ненароком свернула в ту сторону, где была могила миссис Уоттс. Замечталась, наверно. Сейчас уже не помню. Или просто брела куда глаза глядят. В воздухе висела серая дымка. Я слышала голоса зеленых и розовых попугаев, каких-то еще лесных птиц, но вдруг меня окликнул голос человека:

— Матильда. Куда направляешься?

— Никуда, сэр, — ответила я. — Просто гулять иду.

— В таком случае присоединяйся к нам с миссис Уоттс.

Учитель поднялся с земли, и я увидела, что могила миссис Уоттс преобразилась: ее окружали ветки белых кораллов, а сверху пестрели белые и пурпурные цветки бугенвиллеи.

Я растерялась: с кем нужно было поздороваться — с мистером Уоттсом? Но ведь меня пригласили присоединиться к ним с миссис Уоттс. Не решив, как же к ним обратиться, особенно к миссис Уоттс, я в смущении села на землю.

Мистер Уоттс беспричинно улыбнулся. Огромная бабочка опустилась на пальмовый ствол и тут же упорхнула. Я украдкой покосилась на мистера Уотгса. Он все еще улыбался, и улыбка его предназначалась миссис Уоттс. Чтобы только не молчать, я спросила, читала ли миссис Уоттс «Большие надежды».

— К сожалению, нет, — ответил он. — Но пыталась. Знаешь, Матильда, человек не способен притвориться, будто читает книгу. Его выдадут глаза. И дыхание. Погружаясь в книгу, мы забываем дышать. В доме может вспыхнуть пожар, а читатель даже головы не поднимет, пока языки пламени не начнут лизать обои.

Он отступил назад, словно хотел сказать мне что-то по секрету от миссис Уоттс.

— По правде говоря, Матильда, Грейс столько раз откладывала эту книгу, что уже не могла вспомнить, где остановилась. Любой телефонный звонок становился для нее счастливым избавлением. В конце концов она наотрез отказалась возвращаться к этому тексту. Нет, вру: она пообещала дочитать «Большие надежды», если я сделаю попытку прочесть Библию. Вот так-то.

Мистер Уоттс ободрил меня своей разговорчивостью и такими признаниями. У меня на языке

вертелся другой вопрос, и я решила, что сейчас самое время его задать. Если только собраться с духом. Но я не могла придумать, как бы перейти от огорчительного, по мнению ее мужа, нежелания покойной миссис Уоттс оценить «Большие надежды» к ее катаниям на тележке. И красному клоунскому носу мистера Уоттса. Так я ничего и не придумала. К ногам мистера Уоттса упала сухая веточка, он нагнулся, чтобы ее поднять, и момент был упущен.

~~~



Мятежники окружили нас нежданно-негаданно; на их черных изможденных лицах таращились белки глаз, а гривы давно не стриженных, косматых волос прихватывали цветные повязки. Одеты они были в джинсы с отрезанными штанинами. Кое-кто разжился ботинками, снятыми с убитых солдат. Но большинство топало босиком. Костлявые торсы были облеплены футболками. Если на ком-то развевались рубашки, то без пуговиц или с полуоторванными рукавами. Как и краснокожие, они прижимали к себе ружья и винтовки — будто малых детей.

Двое выскочили из джунглей. Трое других подкрались с берега. Один вышел из-за угла нашего с мамой убогого жилища. Еще двое — из-за
~~~

школьной постройки. Кто-то выбрался из зарослей. В общей сложности человек двенадцать, не больше.

Хоть они и были из местных, мы растерялись. Их появление, слишком внезапное, слишком неожиданное, не сулило ничего хорошего; они нас напугали, а у своих так не принято. Мало того. Они вроде бы про нас знали. Неужели следили? Неужели даже подслушивали, стоя за деревьями, как мистер Уоттс рассказывал о нежелании своей жены браться за книгу, которую мы, дети, старательно восстанавливали по кусочкам?

Все возможно, ведь эти рэмбо, как я уже сказала, знали все подходы и ничему не удивлялись. Ни убожеству шалашей, заменивших наши добротные хижины, ни прочности школы, которая осталась незыблемым напоминанием о прежнем, таком надежном и понятном мире, исхоженном нами вдоль и поперек.

Хотя парни и были из местных, ни одного знакомого лица мы не увидели. Сейчас они собрались у кромки джунглей; некоторые присели на корточки, не выпуская из рук оружия. Ясное дело, они тоже нам не доверяли. Их сомнение нас пугало. Слишком уж много сомнений для одного дня.

Судя по всему, они знали, что у нас побывали

краснокожие. Не знали они другого: что мы сказали и что отдали карателям. Всем было известно, как бесчинствовали повстанцы в тех деревнях, которые сотрудничали с правительственными войсками. Вполне возможно, эти рэмбо подозревали в вероломстве и нашу деревню.

Отец Гилберта направился к ним с корзиной каких-то плодов. Повстанцы не сделали ни шагу навстречу. Только ощетинились винтовками и подозрениями. На таком расстоянии мы не слышали, о чем у них разговор. Через пару минут один из тех, что сидели на корточках, вытянулся в полный рост и взял гуаву. Пока он ел, остальные не сводили с него глаз, а потом, убедившись, что их товарищ не упал замертво, последовали его примеру. Они были зверски голодны, просто вначале не показывали виду. Мы только смотрели, как они выплевывают кожуру и косточки.

Мистер Масои привлек их внимание и указал в нашу сторону; мы наблюдали за происходящим. Как нам показалось, отец Гилберта предлагал им кров и пищу. Впрочем, я догадывалась, что он, как и все мы, не чаял, как от них поскорей избавиться, как их спровадить, потому что их присутствие делало нас мишенью для карателей.

Как я уже говорила, мы потеряли ощущение

времени. И все же попытаюсь прикинуть. Рудник закрылся года за три до того, как мятежники-сепаратисты стали приметой нашей жизни. Иными словами, эти парни уже три года жили в джунглях, убивали солдат и прятались от возмездия. Мы с ними были одного цвета кожи. Мы были родом с одного острова. Но жизнь покорежила этих молодчиков. Они больше не походили на нас. По-другому смотрели, по-другому наклоняли голову, по-другому прислушивались. Как лесные звери.

Боясь открытых пространств, они разбили лагерь у самых зарослей, поодаль от свинарников. И не казали носа до темноты. Потом я узнала, что они потребовали лекарств, хотя я не заметила в их числе ни больных, ни раненых. Деревенские жители несколько раз относили им съестное. Мы старались задобрить непрошеных гостей.

Ребятишки, подначивая друг друга, вылезали вперед и крались в их сторону. Тогда кто-нибудь из мятежников резко поворачивал голову, шипел или хлопал в ладоши, и дети бросались врассыпную, как стайка мальков. Тогда рэмбо начинали раскачиваться от хохота, и этот смех обнадеживал нас, как ничто другое. Возможно, за темными от бетеля губами и безумными взгля-

дами скрывались какие-то создания, не столь уж отличные от нас.

Ночью они разожгли костерок. Мы следили, как их фигуры ныряют в темноту и появляются снова, но они нас не видели. И не слышали нашего шепота. Лежа рядом с матерью, я чувствовала ее напряжение. Слышала ее сдавленное дыхание. Наверное, она досадовала, что не может выйти к ним и приказать заткнуться. Из-за них не спали дети. Голоса мятежников гремели в темноте. До их лагеря было метров семьдесят, а казалось — рукой подать.

Кое-кто из этих рэмбо наливался брагой; от этого они горланили и буйствовали еще сильнее. Настоящие бойцы хранили бы тишину и двигались как тени — между прочим, эти парни именно так вошли к нам в деревню. Но алкоголь на всех действует одинаково. Они не помнили себя.

Мама поднялась на ноги и загородила собой вход в шалаш. Я спросила, зачем она это делает. Она не ответила. Поначалу.

— Девушек ищут, — выговорила она в конце концов, подразумевая низменные желания рэмбо.

Странно. Мне такое и в голову не приходило,

пока мать не забаррикадировала собою вход. Теперь у меня было непривычное ощущение, будто я — сладкая ягода, которая не подозревает, что она — ягода, и тем самым только разжигает чей-то аппетит.

На другой день, перед заходом солнца, они нашли мистера Уоттса. Мы с матерью и соседями относили повстанцам еду и увидели, что к нам приближается мистер Уоттс. Его конвоировали двое. Они не верили своей удаче. То один, то другой подталкивал мистера Уоттса прикладом. Мистер Уоттс не скрывал своей досады. Тычки в спину были явно лишними. Я видела, как он поправил очки. Мятежники один за другим повскакали на ноги. Мистер Уоттс как будто не замечал этой суеты. Одурманенный брагой рэмбо заорал ему в лицо:

— А ну, подставляй задницу!

Мистер Уоттс напрягся и осторожно повел головой. Снял очки, внимательно их рассмотрел. Как будто мыслями был не здесь, а в другом месте, где занимался своими делами, пока его не оторвали. Пьяный повстанец приплясывал вокруг мистера Уоттса и бесстыже тыкал вверх средним пальцем. Остальные гоготали, в том числе и двое конвоиров. Пьяный стал расстегивать ремень:

— Сейчас всажу тебе.

Мистер Уоттс не ослышался.

Его голос звучал непререкаемо:

— Этого не будет. — Он указал на поляну, откуда повскакали рэмбо, и распорядился: — Сядь сюда и слушай.

Мистер Уоттс даже не обернулся проверить, подчинился ли рэмбо. Для него этот негодяй просто перестал существовать. А в наших глазах тот вмиг сделался посмешищем. Он и сам это понял, потому что отвернулся и стал застегивать штаны. Остальные начали мало-помалу отходить от него в сторону. Тогда один из мятежников, которого мы без особой уверенности считали командиром, — плечистый, с одним сонным глазом — отделился от их лагеря, подошел к мистеру Уоттсу и спросил, как его зовут. Говорил он беззлобно, и мистер Уоттс не моргнув глазом ответил:

— Меня зовут Пип.

— Мистер Пип, — уточнил командир.

Многие из нас могли бы уличить мистера Уоттса во *лжи*. Достаточно было поднять руку, как в школе. Но мы не шелохнулись и не произнесли ни звука. Наше потрясение было слишком сильным, чтобы оспаривать его слова. Но, как

нам показалось, мистер Уоттс, еще не дослушав вопрос командира, уже был готов с ответом. Конечно, мятежники не знали подоплеку этого имени. Они слыхом не слыхивали про Пипа, про мистера Диккенса и про «Большие надежды». Да что они вообще знали? Для них это было заурядное имя белого человека.

Командир повторил «Пип», как будто выплюнул какую-то гадость. «Пип».

А мистер Уоттс как ни в чем не бывало продекламировал:

— Мне дали при крещении имя Филип, а так как мой младенческий язык не мог слепить ничего более внятного, чем Пип, то я называл себя Пипом, а потом и все меня стали так называть.

Я так и не поняла, что это было: поразительная смелость или невероятная глупость.

Человек с сонным глазом начал допрос. Откуда родом? Здесь чем занимаешься? Шпион? Подослан правительством Австралии? До меня долетали вопросы, но ответов мистера Уоттса я не слышала. Мама вцепилась мне в руку. И тащила прочь. Мы бросали мистера Уоттса на произвол судьбы. Я была уверена, что больше его не увижу, и вместе с мамой обмирала от страха. Мы бросились на берег. Куда нас только понесло?

Море простиралось до краешка неба. Капкан захлопнулся. Дальше бежать было некуда, разве что к себе в шалаш. Там мы и прятались. Под покровом темноты пробрались в свое жилище, как непослушные дети, попытавшиеся удрать из дому. Нет, это сравнение не вполне уместно. Мы не испытали облегчения. Наоборот, затаились в ожидании какой-то страшной неизбежности.

Через некоторое время меня кликнул отец Гилберта. Он остановился прямо у нашего порога.

— Матильда, ты тут? Выйди.

За меня ответила мама. Сказала, что меня нет дома. Тогда отец Гилберта просунул круглую голову в шалаш.

— Матильда, — повторил он. — Тебя мистер Уоттс зовет.

Никуда она не пойдет, ответила за меня мама. Отец Гилберта попросил ее не волноваться. Обещал за мной присмотреть. Дал ей слово. Это, дескать, совсем не то, что она думает.

— Долорес, под мою ответственность, — сказал он, и мама разжала пальцы, державшие меня за костлявую лодыжку.

Отец Гилберта взял меня за руку, но, по мне, его рука точно так же повела бы доверчивую козочку на бойню.

Костер мятежников то мигал, то вспыхивал в ухабистой мгле. Я еще способна была замечать такие подробности, равно как и трепет у себя в груди, и нервную испарину. Когда мы приблизились к лагерю, мне стало ясно, что тут произошла какая-то перемена.

Мистер Уоттс стоя переговаривался с сонноглазым командиром. При виде меня у него вырвался вздох облегчения. Извинившись, он подошел ко мне. Его лицо приняло озадаченное выражение, как в тот раз, когда Гилберт поднял руку и спросил, почему Пип не похитил Эстеллу, если она ему так приглянулась. Мистер Уоттс положил руку мне на плечо. Отец Гилберта передал меня ему с рук на руки.

— Спасибо, Матильда. Надеюсь, ты не против. Возможно, ты мне понадобишься, если придется переводить.

И впрямь что-то здесь произошло за то время, пока мы отсиживались на берегу, а потом вползали, как две улитки, к себе в шалаш, чтобы схорониться от мира. В наше отсутствие мистер Уоттс восстановил данный ему от природы авторитет. Я сразу заметила, что все голоса вокруг костра умолкли, стоило ему только раскрыть рот. Учитель развернул меня за плечо к лоснящимся

лицам, освещенным языками огня.

— Вы хотели знать, чем я тут занимаюсь, — сказал он. — В некотором смысле вас интересует история моей жизни. Охотно ее расскажу, но с двумя условиями. Во-первых, меня не следует перебивать. Во-вторых, мой рассказ займет не одну ночь. В общей сложности — семь.

В ту первую ночь у костра собралась толпа, включившая в себя не только того негодяя, что покушался на задницу мистера Уоттса, но и всех ребятишек, и наших родителей, которые медленно подтягивались из темноты и останавливались у нас за спинами.

По деревне прошел слух, что мистер Уоттс будет рассказывать историю своей жизни. Почти все пришли для того, чтобы послушать про незнакомый мир. К нему нас тянула неодолимая сила. Да не только к нему — к любому миру, непохожему на наш, который стал нам ненавистен, потому что полнился страхом. Но были и такие — сплетники, — которые пришли не за этим. У каждого были свои домыслы насчет мистера Уоттса. Моя мать, например, хотела узнать о его женитьбе на Грейс и услышать наконец из первых уст, как произошло это плачевное событие.

Первая ночь была для нас самой страшной, по-

тому что мы не знали, насколько хватит интереса и терпения мятежников. Они сами предложили мистеру Уоттсу дать объяснения, и он собирался это сделать при помощи размеренного повествования и неповторимого тона, хорошо знакомого его ученикам. Главным условием было не перебивать.

Эти молодые повстанцы годами не слышали рассказчика. Они сидели с раскрытыми ртами и ловили каждое слово, опустив на землю перед босыми ступнями свои винтовки, как ненужные реликвии.

Решение мистера Уоттса предстать перед мятежниками под именем Пипа выглядело рискованным, но нетрудно было понять, чем оно продиктовано. Роль Пипа как нельзя лучше подходила мистеру Уоттсу. При желании он мог бы рассказать историю жизни Пипа так, как она описана у мистера Диккенса, и выдать ее за свою, а мог просто взять из нее отдельные детали, повернуть как угодно и даже вплести что-нибудь новое. Мистер Уоттс выбрал второй путь.

На протяжении последующих шести ночей я улавливала перемену в голосе мистера Уоттса всякий раз, когда его история отклонялась от той, что мы знали, вернее, от той, что пытались

восстановить. Задирая голову, я встречала его взгляд, устремленный на меня в безмолвной мольбе не останавливаться и ни под каким видом не оспаривать его рассказ. Порой он изумлял нас, школьников, тем, что дословно приводил строки из книги — мы их распознавали на лету. Эти строки мистера Диккенса еще не были внесены в тетрадь, и я едва удерживалась, чтобы не отметить достижения учителя. Он знал гораздо больше, чем выкладывал на уроках, когда мы по его заданию восстанавливали «Большие надежды». Как ни странно, я не злилась и не чувствовала себя обманутой. А ведь наш учитель так убедительно закрывал глаза, призывая нас вместе припомнить тот или иной эпизод, который сам знал наизусть. Ну да ладно, рассуждать было некогда. Рассказ мистера Уоттса получился не менее увлекательным, чем роман «Большие надежды», которым мы заслушивались на уроках. А здесь в слушателях оказалась вся деревня: люди сидели у небольшого костра на затерянном острове, где творились ужасающие зверства, ни одно из которых не вызвало негодования в мире.

~~~

«Пип» мистера Уоттса рос в кирпичном здании товарного склада на дороге, которая вела к медному руднику; родителей он не помнил. Отец его бесследно исчез, «как в воду канул». А мать напилась самогона и рухнула с дерева, что росло внутри здания. От удара об пол у нее вылетели глаза. Лишившись глаз, она лишилась также и памяти. Ничего не видя, ничего и не помнила; так и получилось, что про мистера Уоттса она забыла напрочь. Ее ближайшие родственники жили в Квинсленде и занимались выращиванием сахарного тростника; у них она и скоротала свой век, бродя в вечной тьме среди постукивающих тростниковых стеблей.

К счастью, переводила я довольно бойко, и чем дальше, тем лучше; мне было спокойнее, когда люди просто слушали, не замечая моего участия. Навострив уши, они сосредоточенно склоняли головы набок, как собаки, которым мерещится в опасной близости шарканье веника.

Осиротевшего мистера Уоттса воспитала старая затворница, жившая в большом доме, окутанном
~~~

паутиной. О своем детстве мистер Уоттс особо не распространялся. Школьные годы и вовсе пропустил. Рассказал про большой сад. Как помогал старушке с прополкой и посадками. Приключение выпало ему лишь однажды.

Когда мистеру Уоттсу исполнялось двенадцать лет, мисс Райан заказала для них двоих полет на воздушном шаре над домом и прилегающим к нему парком. По мере того как они плавно взмывали вверх, парк приобретал четкий рисунок. Мистера Уоттса тогда поразило, что огромный участок, покрытый, как ему казалось, дикими зарослями, был на самом деле спланирован самым тщательным образом и повторял узор ирландских кружев, которые подарил мисс Райан для подвенечного платья один человек, обещавший на ней жениться. Долгожданный день настал, но жених не явился. Этот человек был пилотом какой-то авиакомпании. За все годы, что мистер Уоттс воспитывался у мисс Райан, ее дивная посадочная полоса так и не приманила самолет жениха.

А за два дня до своего восемнадцатилетия мистер Уоттс, вернувшись домой, увидел, что мисс Райан лежит навзничь поперек клумбы, которую в тот день пропалывала от сорняков; на ее

распухших руках остались садовые перчатки, соломенная шляпка была все еще завязана под подбородком, а на лбу ползала божья коровка, которую мистер Уоттс тут же пересадил на зеленый листок.

Родных у старушки не было; хотя усыновление мистера Уоттса и не было оформлено по всем правилам, завещание она составила в его пользу.

Прошли годы; наверное, мистер Уоттс даже упомянул, как именно они прошли. Сейчас уже не вспомнить, что он тогда сказал, вернее, что сказала я, когда переводила. Большей частью ничего существенного. Поэтому спешу перейти к решению мистера Уоттса поделить дом на две квартиры. Одну половину дома он сдает темнокожей красавице, приехавшей с нашего острова.

Никогда в жизни мистер Уоттс не видел такой черной кожи. Никогда не видел он и зубов такой ослепительной белизны, и таких озорных чертиков в глазах. Юный мистер Уоттс был околдован своей квартиранткой: ее чернотой, ее белым зубоврачебным халатом, и она, по его мнению, это знала, потому что терзала его нещадно. Сверкала улыбкой. Заигрывала. То приближалась, то отталкивала.

Жили они в одном доме. Их разделяла тон-

кая стенка: если приложить ухо, можно было узнать, что происходит на другой половине. Мистер Уоттс научился безошибочно распознавать любое занятие квартирантки. Включила радио — значит, стряпает. Он мог точно сказать, когда у нее наполнялась ванна. Знал, когда включался телевизор, и воочию представлял, как она сидит на полу, поджав ноги под свою кругленькую попку, — именно в такой позе он ее застал, когда однажды зашел получить квартирную плату. Мистер Уоттс приобщился к ее жизни, но вплотную подойти не мог — мешала перегородка.

Отслеживая все действия, которые совершались за перегородкой, мистер Уоттс с нетерпением ждал субботы: именно в этот день Грейс мыла голову и стирала белье, а мистер Уоттс рассчитывал точное время, когда у него под окном состоится помывочное шествие.

В те суровые края пришла зима. Ураганные ветры бились в стену дома. Вырывали с корнем деревья. Сдували, как пену, крыши с домов. В один из таких дней мистер Уоттс отворил дверь и увидел стоящую под дождем Грейс.

На этот счет у моей мамы имелись свои соображения. Она считала, что всему причиной — одиночество Грейс; мистер Уоттс — он что, его дело

маленькое. А та просто истосковалась, повторяла мама.

Грейс зашла попросить совета. Она подумывала бросить учебу. Ей не нравилась стоматология, а в особенности бормашина. Разинутые рты, перепуганные глаза. Хуже нет, чем видеть эти глаза, сетовала она. Словно рыбу с крючка снимаешь, но тут-то — люди.

Той зимой преграду в виде стенки сменила другая преграда: деревянный стол, но одну сторону которого сидел мистер Уоттс, а по другую — Грейс. Они уже привязались друг к дружке. Стол мешал им до тех пор, пока Грейс как-то вечером не перенесла свой стул поближе к мистеру Уоттсу. Пристроившись рядышком, она взяла руку мистера Уоттса и положила себе на колено.

Среди слушателей раздались смешки. Кто-то присвистнул. Мистер Уоттс закивал и смущенно улыбнулся. Мы это оценили. У них, вероятно, завязался роман, но мистер Уоттс предпочел оставить это при себе. Ну, они ведь с Грейс все равно поженились, так что ему не было смысла разжигать наше любопытство. Но кое-что новое он все же поведал.

Обведя взглядом наши улыбающиеся лица, он, видно, рассудил, что более удобного момента не

будет. Потеребил пуговицу на воротничке. Его белый костюм так и сверкал в отблесках огня.

— Моя драгоценная Грейс подарила мне большое счастье, — сказал он. — И самой большой радостью было рождение дочурки, которую мы назвали Сарой.

Мистер Уоттс замолчал, но не для того, чтобы я могла передать смысл его слов. Ему просто нужно было собраться с духом. Он вгляделся в темноту поверх языков пламени.

Все заметили, как он сглотнул, и наше молчание сгустилось.

Он покивал, вспоминая эту крошку. Заулыбался, и мы вместе с ним. Чуть было не рассмеялся, и мы уже были готовы последовать его примеру, но заговорил:

— Мы не могли на нее налюбоваться. Стояли над колыбелью и не сводили глаз с младенческого личика. — Он опять покивал своим воспоминаниям, а потом обратил взгляд к слушателям. — Между прочим, так белые становятся мулатами, а черные белыми. А будете искать виноватых — попадете пальцем в небо.

Кто понял, те рассмеялись. Некоторые из мятежников тоже хохотнули, чтобы не показать свою отсталость.

Мистер Уоттс продолжал:

— Как уже было сказано, я вступил в этот мир сиротой. Родителей я не помню. Фотографий не осталось. Я даже не представляю, как они выглядели. Но в облике малышки проступали черты моих покойных родителей. Я увидел глаза своей матери, ямочку на отцовском подбородке. Стоя над колыбелью, я жадно, как путешественник, впервые увидевший нехоженые земли, вглядывался в этот новый рельеф. Он был мне знаком, но трудно узнаваем. Под кофейного цвета кожей я увидел следы англо-валлийского наследия. Мы с Грейс вдвоем сотворили новый мир.

Изречение мистера Уоттса мне понравилась. Оно натолкнуто меня на мысли об отце. Может, он и не потерялся. Или мы не потерялись. Или просто ждали, чтобы нас нашли.

Будь у меня зеркальце, я бы тут же стала искать у себя хоть какое-нибудь сходство с пропавшим отцом. В заводях горных рек мое отражение каждый раз выглядело по-иному. Оно то мерцало, то темнело. Сейчас, присев на камень, я провела пальцами но лицу. Попытка не пытка — вдруг нашла бы несомненные папины черты. Мне вспомнилось, как в книге «Большие надежды» Пип только по форме букв на могильной плите

решил, что его покойный отец был плотный и широкоплечий, смуглый, с черными курчавыми волосами.

У моего отца рот был словно каучуковый — видно, от смачного хохота. У меня губы оказались тоньше — как мамины, в уголках рта заостренные от неодобрения. Проверила я и глаза — ничего особенного, глаза как глаза. Нащупала уши. Они у меня большие — не потеряешь. Такие уши все слышат. По словам матери, уши моего отца слышали только его оглушительный хохот.

Я решила, что если и передались мне отцовские черты, то искать их надо не на поверхности, а глубже — возможно, они колобродят в сердце или, скажем, сидят в голове, где копятся воспоминания. И еще я подумала, что готова отдать любое телесное сходство за надежду на то, что в далеком мире белых отец еще помнит меня, свою дочку Матильду.

~~~



Собирались мы каждый вечер; кто-то садился, поджав под себя ноги, кто-то, положив руки под голову, растягивался на земле, чтобы считать звезды, которые появлялись в небе одна за другой, точно пугливые рыбки из расщелины в рифе. Некоторые стояли, как будто вот-вот собирались уйти (но всегда оставались до конца).

Моя мать всегда приходила последней. Для нее это было делом принципа. Она любила показать, что у нее есть дела поважнее.

При помощи этой уловки мама надеялась произвести впечатление — если допустить, что кто-то вообще снисходил до того, чтобы ее заметить. Она дожидалась, когда прибежит к костру последний из припозднившихся слушателей. И
~~~

только тогда позволяла себе роскошь передумать и, раз уж выдалась у нее свободная минутка, послушать мистера Уоттса, тем более что он в последнее время обнаруживал способность удивлять.

Если приглядеться, можно было заметить, как мистер Уоттс уходит в себя. У него закрывались глаза, будто необходимые слова оказались далеко-далеко, как еле видные звезды. Он никогда не повышал голос. В этом и не было нужды. Тишину нарушало только потрескивание костра, шепот моря да ночная живность, которая шевелилась на деревьях, пробуждаясь от дневного сна. Но при первых звуках рассказа живность тоже умолкала. Деревья — и те прислушивались. Да что там деревья — даже старухи: они с благоговением внимали каждому слову, как в свое время на проповеди, сидя под крышей и глазея на белого пастора-немца.

И парни-мятежники увлеклись не меньше нашего. Три года провели они в джунглях, заманивая в гиблые места краснокожих карателей, и были способны на все, но при свете костра я видела, что у них смягчается и перестает бегать взгляд: им бы в школе учиться. По сути, они были мальчишками. Тот, с сонным глазом, выглядел,

наверно, лет на двадцать. А остальным и двадцати не исполнилось.

Сегодня я вижу в них почти детей — одетых в лохмотья, с ружьями от другой войны. Но у них была власть. Власть задавать вопрос, которого не задал никто другой. Кто ты есть? Вначале им требовалась только информация. Но мало-помалу их затянул рассказ мистера Уоттса. К вечеру третьего дня положение устоялось. Мистер Уоттс сделался Пипом, а они — как и мы — стали слушателями.

Мистер Уоттс старался найти отклик у всех и каждого. При всяком упоминании Грейс мы подползали чуть ближе, чтобы подобраться к истории нашей землячки, попавшей в мир белых. Примерно через полчаса у мистера Уоттса начинал срываться голос, и мы понимали: вечерний рассказ подходит к концу. В какой-то момент учитель прерывался на полуслове, и многие из нас задирали головы, чтобы по его примеру вглядеться в черноту ночи. Это была уловка: опустив глаза, мы видели, как он уходит по направлению к своему дому и скрывается во мраке.

Не стану дальше воспроизводить его рассказ — пора остановиться. Но я до сих пор ношу в себе главные вехи этой истории, которую про себя на-

зываю тихоокеанской версией романа «Большие надежды». Подобно оригиналу, версия мистера Уоттса приходила к публике по частям: она была растянута на несколько вечеров, чтобы закончиться к установленному сроку.

На это время мистер Уоттс объявил школьные каникулы, поэтому дети видели его только по вечерам. А в дневное время мы опять валяли дурака.

По этой причине, завидев однажды утром, как мистер Уоттс поднимается по склону, я увязалась за ним. Не для того, чтобы задать вопрос или поделиться восстановленным отрывком из книги «Большие надежды», и даже не для того, чтобы узнать, доволен ли он моим переводом. Я увязалась за ним бездумно и преданно, как собачонка, которая встает и бежит вслед за хозяином, или ручной попугай, что сам летит хозяину на плечо.

Я догнала мистера Уоттса у могилы миссис Уоттс. При моем приближении он слегка повернул голову, просто чтобы узнать, кто это, и, не найдя повода для беспокойства, опять устремил взгляд на могилу. Я увидела, что ему на шею опустился москит. Мистер Уоттс то ли не заметил, то ли не придал этому значения. Некоторое время я постояла рядом, глядя туда, где покоилась в земле

миссис Уоттс.

— Ты умеешь хранить секреты, Матильда? — спросил он. И, не дожидаясь ответа, продолжил: — В ночь после полнолуния придет лодка, — сказал он. — Значит, через пять ночей Кристиан Масои поведет нас к месту ее прибытия. Несколько часов в открытом море — и мы будем на Соломоновых островах, а дальше… ну, дальше сама решай.

Я проглотила язык, и мистер Уоттс подумал, что знает причину моего молчания.

— Маму тоже возьмем, Матильда, — сказал он после паузы.

Но я-то подумала не о ней. Я подумала об отце. Наконец-то я его увижу.

— И вот еще что, Матильда. Это очень важно. Пока я не дам добро, ничего не говори Долорес. — Я по-прежнему смотрела на могилу, но чувствовала на себе взгляд мистера Уоттса. — Ты хорошо меня поняла, Матильда? Кивни, чтобы я знал.

— Да, — ответила я.

Трудно выразить словами всю глубину его слов, необъятность надежды.

Мистер Уоттс звал меня бросить единственный известный мне мир. Может, во сне меня и посещали такие картины, но наяву я даже помыслить

не могла о том, чтобы распрощаться с островом. Трудно было представить, что тот большой мир захочет меня принять.

Он сказал:

— Ничего не бойся.

— Я и не боюсь, — ответила я.

— Вот и хорошо. Бояться не надо. Но я тебя предупредил, не забудь, Матильда.

— Не забуду, — пообещала я.

— С Долорес я сам поговорю, не сомневайся. Но до поры до времени это останется нашей тайной. О ней знаем только мы с тобой и эти пальмы. Да, и еще миссис Уоттс.

Опять я лежала без сна в потемках наедине со своей тайной, слушая, как посапывает мать. Мистер Уоттс ей не доверял. А теперь, попросту говоря, мне тоже было велено не доверять ей того, что я узнала: без малого через неделю она вместе со мной и с мистером Уоттсом уедет с острова. И кто знает, возможно, еще через пару недель она увидится с моим отцом.

Меня прямо распирало. Как-то она спросила, не хочу ли я ей что-нибудь сказать: мол, она услышала, как у меня в голове крылья хлопают.

— Это я просто задумалась, — сказала я.

— О чем?

— Ни о чем, — ответила я.

— Ну, когда освободишься, ступай к мистеру Масои, пусть даст нам рыбину.

Мне невыносимо было оттого, что я не могла ее обнадежить. У нее даже насчет моего отца появились бы совсем другие мысли. Она бы задумалась о большом мире. О своем месте в нем. Но в то же время я и без мистера Уоттса понимала: моей маме рискованно сообщать такие вести. Он сомневался в маминой надежности. А я лучше его знала, что мать пустится во все тяжкие, лишь бы только ему насолить.

Играя с ребятами, я раздувалась от важности, но в то же время грустила. Они ведь не знали, что без малого через неделю я расстанусь с ними навсегда. Исподволь я даже начала прощаться со знакомыми приметами нашего мира: с пальмами, с плывущим небом, с неторопливым падением горных ручьев, с рассветными криками птиц, с жадным хрюканьем свиней.

Но тайный план мистера Уоттса меня тревожил. Если нам придется уезжать, у матери должно быть хоть сколько-нибудь времени на раздумье — больше, чем собирался дать ей мистер Уоттс. От нее потребуется мгновенное решение. Я боялась, что она откажется, и своего

выбора я тоже страшилась.

Нарушать данное мистеру Уоттсу обещание я не собиралась, но чувствовала, что матери нужно будет собраться с мыслями. Я не придумала ничего другого, кроме как пересказать ей сцену, в которой мистер Джеггерс прибывает к Пипу в болотистый край. Этот эпизод из книги мистера Диккенса до сих пор меня преследует. Мысль о том, что вдруг, в одночасье твоя жизнь может измениться, была необычайно привлекательна. Вероятно, мать выразилась бы иначе. Она бы сказала, как впоследствии Пип, что вознесет к небу молитву благодарности. Вот об этом я и решила поговорить с матерью, когда мы с ней проснулись в первых отблесках рассвета и лежали, как две оглушенные рыбины.

Со знанием дела я завела речь о мире, где никогда не бывала, но, по ощущениям, ориентировалась не хуже, чем на этом клочке тропического побережья, а мать слушала, как стал бы слушать кто угодно другой, желающий расширить границы своего мира. И услышала она, как Пип изъявил готовность бросить все, что сформировало его характер, — злодейку-сестру, милого старого Джо Гарджери, напыщенного мистера Памблчука, болота и их призрачный

свет, — все без исключения, что было связано для него с родными краями.

Мир, что открыл нам мистер Уоттс у костра мятежников, не сводился ни к островному миру, ни к далекому большому миру, ни даже к Англии девятнадцатого века. Нет. Это было совершенно особое пространство, которое создали у себя мистер Уоттс и Грейс, и назвали они его так: свободная комната.

Свободная комната. С переводом пришлось помучиться. Свободная комната. Я привела в пример матку, которую предстоит наполнить, потом лодку, которую предстоит загрузить рыбой. Вспомнила кокос, из которого удалили и молоко, и белую мякоть. Свободная комната, по словам мистера Уоттса, впоследствии должна была послужить их дочери, девочке с кожей кофейного цвета.

До рождения Сары в свободной комнате были свалены всякие ненужные вещи. Теперь мистер и миссис Уоттс договорились расчистить ее от хлама. И ничем больше не занимать. Они хотели воплотить здесь свое видение небывалого пространства. Зачем полагаться на волю случая? — думали они. Зачем отказываться от возможностей глухой стены? Зачем покупать

обои с рисунком из зимородков и прочих птичек, если на стенах можно разместить полезную информацию? Они условились свести там воедино два мира и предоставить дочери самой выбрать тот, что придется ей по душе. Как-то ночью Грейс написала на стене имена всех своих родичей, вплоть до мифической летающей рыбы.

Впервые за все время, что я выступала переводчицей, меня перебили. Подслеповатая старуха, приходившаяся Грейс бабкой, спросила мистера Уоттса: а ее-то имя написала ли на стене блудная внучка?

Мистер Уоттс закрыл глаза. Взялся за подбородок. И закивал.

— А как же, написала, — сказал он, и старуха облегченно вздохнула.

Следом еще какая-то женщина — вроде бы тетка миссис Уоттс — подняла руку и спросила о том же. А потом и человек пять-шесть других родственников пожелали удостовериться, что их имена увековечены на стене дома в далеком мире белых.

Мистер Уоттс предложил просто побелить стены свободной комнаты, и Грейс в ответ написала «историю белизны на моем родном острове».

И теперь мы, дети, к своему изумлению, выслу-

шали все фрагменты, которые наши мамы, дяди и тети приносили в класс к мистеру Уоттсу. Наши мысли о белизне. Наши мысли о синеве. Мистер Уоттс по крупицам собирал свою историю из наших воззрений — из тех рассказов, что звучали у нас в классе. Но добавлял и кое-что новое: например, мысли Грейс насчет коричневого цвета.

Мороженое на палочке отродясь не бывало коричневым, пока не придумали добавлять в него колу; появилось такое мороженое — и враз исчезло. Тогда мы спросили лавочника почему, а он и говорит: никому оно не нужно. Мы как закричим: «Нам нужно». А он: «Вас, мелочь пузатая, никто не спрашивает. Брысь отсюда».

Повстанцы у костра стали хлопать друг друга по плечам и покатываться со смеху; где-то в стороне им подвывала одинокая собака.

А мне опять предстоял каверзный перевод: рассуждения мистера Уоттса о белизне.

В детстве он услышал от мисс Райан, как она при помощи белой жевательной резинки укрепила свой белый зуб, едва не выбитый о питьевой фонтанчик незадолго до свидания с тем самым летчиком, от которого, как она помнила, всегда пахло черным гуталином!

Глядя на меня, мистер Уоттс сделал паузу. Он

был очень доволен собой. Ждал, что слушатели растрогаются, когда я донесу до них смысл. Но чтоб мне провалиться, если я понимала, что такое «черный гуталин»!

— В то время, — продолжил мистер Уоттс, — от всех пахло белым мылом.

Я встретилась взглядом с Силией и Викторией. И поняла, что не одинока в своих опасениях. Нам всем стало боязно за мистера Уоттса. Он нес какую-то околесицу. Мои мысли обратились к Джо Гарджери из романа «Большие надежды» и к его бессвязным речам.

Помню, на уроках, слушая чтение мистера Уоттса, я улавливала слова, которые по отдельности были мне знакомы, но в предложениях почему-то превращались в полную бессмыслицу. Когда мы спросили, как понимать рассуждения Джо, мистер Уоттс ответил, что искать смысл в его речах не нужно. Если слова кузнеца непонятны, значит, так и должно быть. Пусть так; но сейчас я забеспокоилась, что мистер Уоттс перепутал своих героев: сбросил маску Пипа и влез в шкуру Джо Гарджери. Мой перевод не возымел такого действия, на которое, судя по его довольной улыбке, рассчитывал мистер Уоттс. Перед ним в ожидании обещанной косточки застыли

собачьи лица.

Он опомнился и стал рассказывать про соседа мисс Райан, который на островах подвозил к берегу людей с летающей лодки. Этого соседа нашли мертвым; в руке он держал кисть, которую успел обмакнуть в белила, но так и не сумел использовать: умер он от инфаркта возле недокрашенного почтового ящика. Слишком много ел сахара, как мы услышали. Или соли?

Короче говоря, он вернулся к теме белизны.

Белейшую белизну, сказал он, можно найти внутри унитаза. Белизна сродни чистоте. Чистота сродни благочестию.

Белый, сказал он, раньше был исключительно цветом летчиков и стюардесс. В детстве первым делом узнаешь про белые страны. Булка белая, пена тоже, и жир, и молоко.

Белый — это цвет резинки, которая не дает упасть трусам. Белый — это цвет машины «скорой помощи», избирательного бюллетеня и кителей парковщиков.

— Но прежде всего, — сказал он, — белый — это ощущение.

Уловив ритм, я без запинки перевела это предложение.

Мимолетная мысль способна прийти и уйти,

оставив по себе удивление. А написанное или сказанное слово требует объяснений. Когда я перевела суждение мистера Уоттса о том, что «белый — это ощущение», весь остров, клянусь, притих. Мы давно такое подозревали, просто уверенности не было. Теперь нам предстояло услышать. Мы ждали, ждали, а мистер Уоттс тем временем застыл, отведя взгляд в сторону и вниз. Сначала просто ругал себя, что открыл эту дверь, подумала я. Но потом, покивав самому себе, он серьезно и откровенно, как никогда, сказал:

— Это правда. Среди черных мы ощущаем себя белыми.

Хотя от этих слов нам стало неловко, все, по-моему, ждали продолжения, но тут встрял Дэниел.

— А нам без разницы, — сказал он. — Мы и среди белых ощущаем себя черными.

Обстановка разрядилась. Люди засмеялись, а один захмелевший рэмбо вскочил, пошатываясь направился к Дэниелу и хлопнул его по раскрытой ладони. Дэниел расплылся в улыбке. Сам-то он не ведал, что сказал.

~~~

Все началось с имен родичей, которые Грейс написала на стенах свободной комнаты. Теперь там же были увековечены и другие сферы. Мистер Уоттс и Грейс записывали каждый свои рассказы и мысли. Бывало, сцеплялись они при этом, как петухи. Записывали названия мест. Киета. Арава. Грейвсенд, клоака, исторгавшая переселенцев[6]. Через много лет я своими ушами не раз слышала такое определение.

Юнцы-мятежники не подозревали, что мысли Грейс — на самом-то деле наши мысли, из здешних мест: наши матери и тетки приносили их к нам на уроки. Сейчас я уже многое забыла. Зато помню, как мистер Уоттс жаловался, что Грейс не всегда ставила в конце предложения точку. Предложение просто обрывалось, и взгляд упирался в пустое место. Когда он пожурил за это Грейс,

---

[6] Примечания: 6

Грейвсенд — небольшой городок к востоку от Лондона, «ворота» лондонского порта, место отдыха лондонцев. В XIX веке и позднее представители высшего света пренебрежительно относились к этому городку. В романе Ч. Диккенса «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита» (1843) в уста одного из персонажей вложена фраза: «Чистая публика в Грейвсенд не ездит».
~~~

она спросила: а что, по-твоему, лучше — болтать ногами в воде, сидя на пирсе, или засунуть ноги в жесткие кожаные ботинки?

Подозреваю, что мне запомнились самые причудливые и таинственные из тех настенных списков. Некоторые безнадежно перепутались. А обыденные, но, возможно, более тонкие улетучились из памяти. Запомнилось мне вот что.

По каким приметам узнаешь родной дом

Там живет память. Окно. Дерево у входа.

Красногорлая шилоклювка, невесомая, как радиограмма, перелетает через Тихий океан туда и обратно, зная, что всегда найдет свой берег.

Доверчивость приезжих, которые спрашивают: «Неужели?»

Рев автобуса, переключающего скорость за две улицы до подъема назад, к детству.

Буйные ветры, что приносят бумажки и листья как будто специально для тебя.

Старинная мореходная карта, похожая на сетку для покупок, только с линиями

течений и с розой ветров.

Запах переспелых плодов.

Запах свежескошенной травы и смазочного масла для газонокосилки.

Блаженное молчание человека, который прожил семьдесят пять лет на одном острове и давно сказал все, что хотел.

Сотворение мира

Шаг первый. Потребуется много воды: и сверху, и снизу. Небесной водой наполнятся озера и реки. Затем добавить ночи и дня, поровну. Пока светло, солнце будет забирать воду назад, чтобы не иссякли небесные запасы.

Шаг второй. Из праха создать человека. В конце жизни он возвратится в прах. Опять же, чтобы не иссякли запасы.

Шаг третий. Самый ответственный. Взять ребро и создать женщину, чтобы человек не скучал, чтобы был он благочестив и накормлен. Добавить чайную ложку сахару для радости и горьких трав для слез. И того и другого будет немало, а все остальное приложится.

История памяти

Тоскую без островного смеха. Белые

люди так не смеются. Они хихикают тишком, исподволь. Я учу твоего отца, как нужно смеяться, и он делает успехи. Только мало занимается.

Тоскую по теплому морю. Что ни день, мы, ребятишки, ныряли с причала. Но чтобы в воскресенье — никогда. Ты знаешь почему.

Тоскую без синевы, без крыланов, что появляются в сумерках.

Тоскую без глухого стука, с каким падает на землю кокос.

Разбитые сны

Соседская девочка бродила во сне. На удивление далеко могла уйти — и не просыпалась. Однажды села она в лодку и дошла на веслах до самого рифа, а после вернулась к себе домой и легла на тюфяк. А то еще шагала по берегу, будто в церковь опаздывала.

Как-то застукали мы ее у себя: сидит за столом, глаза закрыты, но всем своим видом показывает, что пить хочет. Собралась я ее растолкать, да мама не дала. «А вдруг она сон видит?..»

Сон, говорит мама, — дело потаенное.

Так оно и есть. Сны — это истории, которые никто, кроме тебя самой, не услышит и не прочтет.

С их легкой руки сотворений мира за всю историю галактики было больше, чем звезд на небе.

Впрочем, девочка, что сидела у нас дома, наверное, видела во сне всего лишь прыжок в воду с причала — и это тоже неплохо.

Как найти свою душу

Если обманешь мать, возможно, ничего с тобой и не случится, разве что зальешься краской и вспотеешь. Но потом, около двух часов ночи, в этой дурацкой машине, почувствуешь свою лживость.

Это чувство ищет какой-то выход — и находит. Оно лежало в запаснике, у тебя глубоко внутри. Не спрашивай у докторов, где он находится. Они, как и твой отец, мало что в этом смыслят.

Ты должна знать о преисподней. У отца не спрашивай. Он в географии не силен. Преисподняя значит для него куда меньше, чем Лондон и Париж. В таких городах только живот набить, на горшок сходить

да фотографий нащелкать — больше там делать нечего. Другое дело Небеса и Преисподняя: это города души! Там взрослеешь!

Твои шнурки

Твои шнурки сами по себе бесполезны. Чтобы стать шнурками, им нужны ботинки. Человек без Бога — не более чем кусок плоти. Дом без Бога — пустой дом: оглянуться не успеешь, как там поселится дьявол. Нужно иметь представление о границах.

Границы

Косички напоминают нам, что порой трудно определить, где кончается хорошее и начинается плохое.

Мистер Уоттс и Грейс условились свести воедино свои два мира, поместить их на стенах свободной комнаты и предоставить дочери самой выбрать тот, что придется ей по душе. Но ни один из них двоих не признавался другому, что хочет передать дочери кое-какие собственные принципы и убеждения, а их принципы и убеждения подчас противоречили друг другу. Я знала — и, пожалуй, все остальные тоже, — что мистер

Уоттс не верит в Бога. Ему даже не требовалось заявлять об этом во всеуслышанье. Достаточно было на него посмотреть, когда моя мама приходила в школу побеседовать с нами о дьяволе. Застыв позади нее, мистер Уоттс набычивался, закрывал глаза и скрещивал руки на груди, как будто отгораживался и запирался на все замки от всего, что говорилось детям. Теперь, у костра, он без обиняков показал себя безбожником. Но сделал это с расстояния, из свободной комнаты. В случае опасности он бы мог сказать, что стал другим человеком. Что душа его спасена.

В голосе у Грейс звучал задорный юмор, который она умудрилась запечатлеть на стене. Мистер Уоттс беспокоился, что дочка, слушая игривый материнский голос, волей-неволей поверит в Бога. Кроме того, Грейс обладала даром убеждения, да к тому же неверие Сары было бы для нее равносильно предательству. Мистер Уоттс зашел в тупик. Что было делать? Его собственные списки больше напоминали конспекты лекций. В них не было живости. А раз не было живости, они не могли соперничать с завлекательными суждениями Грейс насчет души и дьявола.

Поздно ночью он прокрался в ту комнату и за-

мазал белилами слово «дьявол», где только сумел найти. Теперь слово «дьявол» едва проглядывало светло-коричневыми буквами. Мистер Уоттс приободрился. Ненавистное слово обещало со временем выцвести. А через несколько дней он увидел, что Грейс наклеила на стену от пола до потолка изоляционную ленту, чтобы отделить свою родню от его любимых вымышленных персонажей.

При этих словах кое-кто из престарелых родственников Грейс тихонько захлопал. Другие одобрительно закивали.

Мы знали, особенно моя мама, кому желать победы в борьбе за свободную комнату. А когда среди слушателей раздались смешки, исход состязания был предрешен. Под «разбитыми снами» Грейс сделала такую приписку:

> Когда у пса судороги — это верный признак. Пес лежит-лежит, а потом вскочит и давай озираться, будто его блоха в зад укусила. На самом деле он ищет, куда убежали его сны. Бывает, ляжет обратно, опустит морду на лапы и ждет, когда же они вернутся.

От таких забавных историй повстанцы начи-

нали хохотать, и на их белых зубах вспыхивали отблески огня. А рассказчики тайком улыбались в темноте. Одной из рассказчиц была моя мать. Вообще говоря, многие настенные записи Грейс, воспроизведенные мистером Уоттсом, полностью совпадали с маминым видением мира и отчасти даже были знакомы нам, детям, по ее выступлениям в классе, рассчитанным на промывание наших мозгов.

На пятый вечер мистер Уоттс доверил белой стене мысль про Пипа и дьявола, уже знакомую нам по школьным обсуждениям. Опять же, о развитии этой мысли знали только мы, дети. А теперь мы услышали, что произошло, когда она выплеснулась на стены «свободной комнаты».

На тех же стенах мистер Уоттс стал подначивать Грейс, чтобы та описала дьявола. Когда он объявил об этом у костра, я шеей почувствовала мамино дыхание, хотя и стояла в стороне. Это был один из тех случаев, когда мистер Уоттс обращался непосредственно к моей матери. Он собирался вплести их старый спор в свой рассказ о битве за свободную комнату. И мама не зевала.

Я забеспокоилась: а вдруг мистер Уоттс надумает с ней поквитаться? Мне было страшно, что своей непоколебимой верой она себя выпятит из

числа безвестных слушателей. Бросится отстаивать Бога и дьявола, невзирая на установленные мистером Уоттсом правила. А если она еще бездумно раскроет рот, то скатится на сплошные злобствования.

— Так вот, — начал мистер Уоттс, — по каким признакам распознать нечистого? Он покажет рога? Или предъявит визитную карточку? Оскалит безгубый рот? Не сможет поднять брови, потому как у него их нет? Или выдаст себя блудливым взглядом?

Мистер Уоттс сыпал вопросами — и сам лепил перед нами дьявола. Он стремительно собрал этот образ у нас в головах и так же стремительно принялся его разбирать при помощи тех самых объяснений, которые давала в классе моя мать. «Мы знаем дьявола благодаря тому, что знаем самих себя». Ну а откуда мы знаем Бога? «Мы знаем Бога благодаря тому, что знаем самих себя».

Маме наверняка это понравилось. Мистер Уоттс просто повторил ее слова, сказанные тогда в классе.

Парни, которые уже знали, каково убивать краснокожих, а на другой день нести на себе в горы раненого брата, наверное, испытали облегчение, когда услышали, что в их жилах течет не

совсем уж дурная кровь. Сидя у костра, эти парни заново постигали то, что мы, дети, уже слышали на уроках.

Зашедший в тупик спор между мистером Уоттсом и моей матерью. Готовность мистера Уоттса поверить в одного вымышленного персонажа (Пипа), но не в другого (дьявола). Мамино убеждение, что дьявол так же реален, как Пип. Но если ее припереть к стенке, она бы призналась, что все изображения дьявола, в том числе и в обличье той старухи из ее детства, которая оборотилась устрашающим пернатым стервятником, — это не более чем балаган.

Сейчас мы слушали вовсе не рассказ мистера Уоттса. И не рассказ Грейс. Это была придуманная история, к которой приложил руку каждый из нас. Мистер Уоттс отраженным светом направил на нас наши знания о мире. Зеркал у нас не было. Их вместе с другими предметами, которые могли бы напомнить, кто мы такие и во что верим, давно бросили в огонь. В моих глазах мистер Уоттс сейчас возвращал нам частицу нас самих в виде истории.

На шестой вечер мистер Уоттс рассказал историю — если не ошибаюсь, собственного сочинения, — в которой определялось место

неверующего. Не помню, чтобы он озаглавил свой рассказ, но я это сделаю. У меня это будет «История мушки-поденки». На месте моей матери вы бы, наверное, решили, что слушаете язычника, который признается в том, что все его прежние слова и верования были ложными. Я, со своей стороны, решила, что это подношение учителя моей маме.

ИСТОРИЯ МУШКИ-ПОДЕНКИ

Некоторые местности хранят свою историю в собственном названии. Примером может послужить улица Бери-Да-Помни. Жила на этой улице чернокожая женщина, которую все называли миссис Саттон; свое богатство мерила она по числу снов, что ей приснились. Ее белый муж-всезнайка, который на самом деле был учителем столярного дела (что само по себе неплохо, только учитель из него был никудышный), твердил, что ее богатство яйца выеденного не стоит. Много ли купишь за один сон? Сколько снов нужно заплатить за мороженое, за бифштекс? Он глумился и поднимал ее на смех.

Сон — штука тонкая: брось в его сто-

рону одно резкое слово — он тут же съежится и умрет. А случилось вот что. В самый ответственный момент своего рассказа поднимает она глаза и видит, как ее беспрокий муж стряхивает опилки с волосатого предплечья. Тогда миссис Саттон решила записать свой сон на клочке бумаги. А для верности обмотала она эту записку вокруг камешка, который всегда носила в кармане.

Обычно после размолвки забьется она в укромный уголок и ждет возвращения разбитого сна. Но в этот раз решила по-другому. Когда она выходила из дому, муж даже не посмотрел ей вслед. Опустилась темнота, женщина так и не вернулась, и муж забеспокоился.

Вначале ждал, что она позвонит, — брезжила у него такая надежда. Позвонит ему из телефонной будки на ночной окраине и попросит за ней приехать. Ждал он, ждал ее звонка. А потом не выдержал и бросился на поиски.

Прохожие сказали, будто видели, как она шла к реке.

Вполне возможно. Почему? Да потому,

что через семь дней после ее исчезновения на берег выбросило клочок бумаги, который запутался в кроне упавшего дерева. Почерк еще можно было разобрать. Похоже, миссис Саттон увидела себя во сне мушкой-поденкой. И супруг ее, прежде безбожник, оказался единственным, кто не отмахнулся от этой записки. Больше того, муж, даром что прежде был глуп, связал записанный сон с исчезновением жены.

Дальше — больше. Побежал мистер Саттон в библиотеку, чтобы узнать хоть что-нибудь о превращении своей жены, и вычитал, что поденка до трех лет может жить на речном дне, под илом.

Целую неделю бродил он вдоль берега реки, высматривая ее следы. Вид у него был жалкий. Подумать только: бродит человек по берегу и смотрит в воду, чтобы разглядеть ил на дне. Была у него надежда, что жена еще объявится. Вернулся он в библиотеку, чтобы побольше узнать о жизненном цикле майской мухи.

Прочитанное его не обрадовало. В день смерти поденка взлетает из реки крыла-

тым насекомым. К тому времени в тени у реки уже сидят наготове ленивые самцы. Как появится мушка — сразу за ней рой самцов. Оплодотворенные поденки летят вверх по течению и сбрасывают яйца на речную гладь. Сделав дело, сами падают в воду без сил. А там уже лягушки поджидают добычу.

Трудно сказать, какой этап жизненного цикла больше возмутил мистера Саттона. Коварные самцы или прожорливые лягухи.

Ехал вдоль реки на велосипеде маленький мальчик, и увидел он, как мистер Саттон плетется по берегу, не поднимая головы. Он вглядывался в толщу воды, надеясь обнаружить то место, где его жена вместе с миллионами таких же личинок зарылась в ил. Бедный мистер Саттон. Так и остался он бродить по берегу, звать жену да швырять в лягушек принесенными с собою камнями.

Эта история привела нас в восторг. Уж не знаю, откуда мистер Уоттс ее взял. Возможно, сочинил прямо на месте. Мы развеселились. Повстанцы

заулюлюкали. Больше всего привлекло их то, что мистер Саттон целился камнями в лягушек. Все так смеялись, что никто не заметил, как мистер Уоттс нашел глазами мою мать и улыбнулся.

На шестой вечер мы услышали, что Сару, будущую обитательницу свободной комнаты, подкосила болезнь. Менингит. Во время этого рассказа у мистера Уоттса пересохло в горле. Он смотрел на языки огня и впервые за все время едва не потерял маску Пипа. На этот раз сомнений не осталось: вымыслом тут и не пахло.

Взяв себя в руки, мистер Уоттс рассказал, как они с миссис Уоттс похоронили свое дитя и долго стояли бок о бок перед маленьким земляным холмиком. По словам мистера Уоттса, стояли они там до самой ночи, и слез у них больше не осталось, как не осталось и слов. Для таких случав, сказал он, слов еще не придумали.

— Беда, — только и сказал он, покачав головой в сторону ночи.

А дальше он поведал, как миссис Уоттс впала в депрессию. Мы узнали, что по утрам она не могла заставить себя выбраться из постели. Не разговаривала. Потеряла аппетит. Отчаявшись найти для нее лекарство, мистер Уоттс вспомнил про рака-отшельника. Часто ли рак-отшельник

меняет нору? Три-четыре раза в жизни, верно? Мистер решил, что это и есть ответ. Новый дом, новое окно, другой вид. А вдруг тоска увяжется за нею следом? Нет. Мистер Уоттс решил, что его любимой Грейс поможет только одно: придумать себя заново.

Впервые за все время мистер Уоттс обратился к слушателям с вопросом: знаем ли мы, кто такая Шеба, иначе говоря — царица Савская? Он обвел глазами наши освещенные костром лица. Я стояла рядом с матерью. Слышала, как участилось ее дыхание. Чувствовала, как она заволновалась, как захлопали у нее внутри все дверцы. Промолчать она не могла. Не поднимая руки (хотя все школьники знали, что это обязательно), она выпалила:

— Это из Библии.

Заслышав ее голос, мистер Уоттс уже не выбирал, в какую сторону смотреть. Я-то подозревала, что он с самого начала знал, где стоит моя мать. Сейчас он улыбнулся своей заклятой противнице.

Совсем как в классе, он жестом попросил ее продолжать. Теперь к нам повернулись и все прочие лица. Один из мятежников, поднявшись с земли, шагнул вперед и раздвинул толпу своим

мачете, чтобы посмотреть, чей там голос. А моя мама, оказавшись в центре внимания, ни с того ни с сего лишилась своей уверенности. Ее голова свесилась на грудь. Голос ослабел, и она будто бы обращалась к земле, а не к слушателям, смотревшим в ее сторону.

— Шеба, царица Савская, была очень мудрой чернокожей женщиной, которая пришла к царю Соломону, чтобы испытать его загадками.

Больше она ничего не сказала. Они с мистером Уоттсом переглянулись, и мистер Уоттс решил, что настало время прервать молчание.

Он обвел взглядом слушателей и начал по памяти читать из классической Библии:

— «…и беседовала с ним обо всем, что было у ней на сердце… и не было ничего незнакомого царю…»[7].

[7] Примечания: 7
3-я Царств 10: 2–3.

~~~



Есть люди, которые умеют определять ход времени по приливам. Есть и такие, которые смотрят на завязь плода — и с ходу называют месяц. А мне тоненькая лунная ниточка у кромки серебристого океана шепнула: близится новолуние.

Я терпеливо отсчитывала дни в ожидании двух событий: нашего отъезда с острова, да, но также — что было еще важнее — разговора мистера Уоттса с моей матерью насчет возможного бегства.

Вне сомнения, разговор пока не состоялся. Мама бы мне сказала. Или подала бы какой-нибудь знак, приободрилась бы, что ли. Так или иначе, она бы захотела со мной поделиться.

Я напомнила себе, что именно сказал мистер
~~~

Уоттс о предстоящем разговоре с моей матерью. Он хотел взять это на себя. Ну и хорошо. Только медлить не следовало: мама, по-моему, заслуживала, чтобы ей дали время на раздумье, а мистер Уоттс, похоже, не собирался идти ей навстречу.

Наверное, мне придал смелости рассказ мистера Уоттса про царицу Савскую — тот отрывок, где она беседовала обо всем, что было у ней на сердце, потому что, когда слушатели стали расходиться, я последовала за мистером Уоттсом в темноту. Решив поговорить с ним без свидетелей, я ступала бесшумно, чтобы не потревожить землю и мистера Уоттса. На подходе к школе мистер Уоттс замер и обернулся.

На лице у него было написано большое облегчение: позади стояла всего лишь я, а не привидение с мачете в руках.

— Матильда! Господи, — сказал он. — Зачем же так подкрадываться.

Его облегчение быстро перегорело. Оно сменилось досадой, как будто он знал, что сейчас последует.

— Вы еще не поговорили с моей мамой, мистер Уоттс?

— Нет, — бросил он и отвернулся, делая вид, что услышал вдали какой-то шум. Затем он опять

повернулся ко мне. — Не успел, Матильда.

«Не успел». Пауза между «нет» и «не успел», на мой взгляд, затянулась. Тогда-то мне все стало ясно — или, по крайней мере, я так подумала.

— Без мамы я не поеду, — заявила я.

Он долго смотрел на меня, испытывая мою решимость.

Ждал, что я передумаю. Что возьму свои слова назад. А я уставилась в землю, как неблагодарная свинья.

— Разумеется, — сказал он наконец.

И как мне было понимать это «разумеется»? Что он поговорит с мамой? Что одобряет мое решение? Я ждала объяснений.

— Разумеется, — повторил он и ушел в ночь.

Тогда я подумала, что мистер Уоттс просто устал от своих вечерних рассказов и рассердился не столько на мои слова, сколько на нотки в голосе. Я сглупила, как цыпленок, выплюнувший червяка. Видно, мистер Уоттс всего-навсего ткнул меня носом в мою дерзость, но вовсе не отказывался поговорить с моей матерью.

Я могла бы побежать за ним. Могла бы вежливо попросить хоть какого-нибудь объяснения. Но я этого не сделала. Потому что знала, к чему стремилась, а именно: ничего не знать. Я хотела

просто верить.

Наутро меня разбудили возбужденные голоса. Стоя на четвереньках у порога, мама выставила свой обширный зад прямо мне под нос и о чем-то спрашивала. Снаружи ей отвечали. Мама выползла на улицу и присоединилась к остальным. Второпях одевшись, я припустила следом.

Мы пришли на опушку, где обычно устраивались на ночлег повстанцы. Нам открылись только угли вчерашнего костра да примятая трава. Незваные гости ушли без звука, не попрощавшись. Снялись с места и растворились в ночи — вот и весь сказ. Мы не сводили глаз с кромки зеленых джунглей. Из чащи выпорхнула опасливая птичка, которая, вертя головой, стала прыгать с ветки на ветку. Мы терялись в догадках: что же могло их спугнуть?

Что ни делается, все к лучшему, рассудила мама. Хоть мы к ним привыкли, да и они к нам тянулись, а без них спокойней. Крепче спать будем. Правда, кое-кто огорчился по другому поводу. Неужели мы теперь не услышим окончание истории, которую рассказывал мистер Уоттс? Неужели не узнаем, что случилось с нашей отважной школьницей, вернувшейся много лет спустя в тележке, которую тащил за собой чело-

век с красным клоунским носом?

У меня созрело решение поговорить с мистером Уоттсом насчет заключительной части. Убедить его, что слушатели еще есть. А история осталась недосказанной. По моим расчетам, в его распоряжении была еще одна ночь, а уж потом они с мистером Масои вытащат лодку из пересохшего русла.

Я ждала, чтобы солнце оторвалось от горизонта. Давала мистеру Уоттсу время стряхнуть сон — и тут из темных джунглей высыпали краснокожие солдаты. В рваном камуфляже, многие с повязками. Лица у них были отрешенные. Теперь я знаю, у кого бывают такие пустые лица. Перекошенные от злости и желчности. В нашу сторону каратели, считай, не глядели.

Один из солдат вырвал банан у маленького мальчика. У братишки Кристофера Нутуа; мистер Нутуа мог только сцепить пальцы за спиной и мучительно потупиться. Солдат надкусил банан — и отшвырнул его почти целым. Офицер молча наблюдал за происходящим своими больными глазами.

Не успели мы осмыслить эту смену событий, как заметили среди солдат пленного. Одного из тех повстанцев, что стояли у нас лагерем. Лицо

его от побоев превратилось в кровавое месиво. Но я его узнала. Это был тот самый пьянчуга, который грозился надрать задницу мистеру Уоттсу. Кто-то из солдат выпихнул его вперед. Офицер толкнул его в поясницу. Потом еще раз, и мятежник не устоял на ногах. Только теперь мы заметили, что руки у него связаны за спиной. Тут подскочил другой солдат и принялся бить его ногами по ребрам. У пленного открылся рот, но крика не было. Просто разинутый рот, как у рыбы, проткнутой ножом. Еще один солдат поднял его с земли и схватил за горло, да так, что сквозь кровавое месиво проступили выпученные от ужаса глаза.

Мы, все как один, при этом присутствовали — послушная, хорошо вымуштрованная толпа. Как обычно, собрались мы без понукания. Очевидно, с прошлого раза офицер утратил к нам интерес. Мы ожидали, что он сделает перекличку, сверяясь со своим списком. Но его интересовало лишь одно имя. Он подошел к мятежнику. Возвышаясь над ним, офицер приказал достаточно громко, чтобы мы тоже слышали:

— Укажи, кто тут Пип!

Мятежник поднял окровавленное лицо. Безвольным жестом он махнул в сторону школы. По

приказу офицера двое карателей, схватив этого рэмбо за руки, поволокли его за собой в указанном направлении. А нам офицер бросил:

— Вранья больше не потерплю.

Помню, когда мы провожали глазами карателей и мятежника, меня охватило противоестественное спокойствие. Так действует на человека нутряной страх. Он делает тебя бесчувственным.

Через считаные минуты грянули выстрелы. Вскоре из школьной постройки появились те двое краснокожих. Каждый со скучающим видом нес на плече винтовку. Между ними ковылял мятежник. Ему, как видно, развязали руки, потому что он тащил к свинарникам обмякшее тело мистера Уоттса. Мы отвели глаза, чтобы не видеть того, что будет дальше. Но не всем удалось избежать вида занесенного сверкающего мачете. Мистера Уоттса изрубили на куски и бросили свиньям.

Я вспоминаю об этом без истерики, без дрожи. Меня даже не тошнит. Как оказалось, я способна по своему хотенью заново собирать мистера Уоттса по частям, и доказательством тому, надеюсь, служит мое повествование. В то время, однако… ну, это совсем другая история. Наверное, у меня случился шок.

Все произошло стремительно: от неожиданного

исчезновения повстанцев, очередного набега карателей — и до расправы над мистером Уоттсом. Казалось, эти события спрессованы до предела. Их невозможно было разделить; между ними даже не оказалось зазора, чтобы нам перевести Дух.

Краснокожий офицер вгляделся в наши искаженные ужасом лица. Его колючий взгляд говорил о полном безразличии к тому, что мы сейчас увидели. Офицер вздернул подбородок. Еще раз сказал, что вранья больше не потерпит. Не допустит. Ясное дело: он хотел видеть наш страх. Искал, к кому бы придраться. И наверное, с легкостью убил бы такого беднягу за непочтительность.

А мы не отрывали глаз от земли, будто провинились. Офицер был так близко, что я слышала, как он посасывает губы; он знал, что повышать голос ему не придется. Нас обуял такой страх, что мы бы уловили малейший шепот.

— В глаза смотреть, — приказал он.

И дождался, чтобы каждый оторвал взгляд от земли. Подождал, пока это сделает последний ребенок, которого отец подтолкнул локтем.

— Так-то лучше, — сказал он почти вежливо. И таким же тоном спросил: — Кто это видел?

Он сверлил нас взглядом; я, к стыду своему,

была среди тех, кто опять уставился в землю. Глаза я подняла против собственной воли, да и то лишь после того, как один из наших в полный голос ответил офицеру:

— Я видел, сэр.

Это был Дэниел; он явно гордился собой. Впервые в жизни он опередил одноклассников с ответом. Краснокожий офицер долго и пристально смотрел на мальчишку. Он не знал, что Дэниел у нас туповат. Офицер обратился к одному из подчиненных, тот кивнул другому, и они вдвоем повели Дэниела в джунгли. Мальчик шел безропотно, размахивая руками на ходу. И на миг показалось, что все это проглотят. Но тут подала голос бабушка Дэниела, которая приходила к нам на урок, чтобы рассказать про синеву.

— Сэр, можно мне пойти с внуком? Пожалуйста, сэр.

Краснокожий мотнул головой, и старуха с вывихом бедра заковыляла, кивнув в знак благодарности, позади третьего солдата, которому, видно, не улыбалось вести в джунгли бабку.

В нашей шеренге заплакал маленький мальчик. Офицер прикрикнул на него, чтобы тот умолк. Рука матери зависла над ребенком. Она хотела его успокоить, но боялась пошевелиться

без разрешения офицера. Пару раз всхлипнув, мальчуган затих. И когда офицер повернулся в другую сторону шеренги, женщина опустила руки и спрятала ребенка за коленями.

Краснокожий офицер, судя по всему, был доволен развитием событий. У него все шло гладко — возможно, даже лучше, чем он ожидал. Пошаркав ботинками, он сложил руки за спиной. И, глядя в пространство, заговорил:

— Повторяю вопрос, для идиотов: кто видел, как умер белый человек? Кто видел?

Молчание было долгим и обжигающим; помнится, даже птичий щебет умолк.

И среди этой тишины я вдруг почувствовала, как рядом со мной зашевелилась мама.

— Я видела, сэр, как ваши солдаты изрубили на куски белого человека. Это был добрый человек. Перед Богом свидетельствую.

Офицер широким шагом подошел к моей маме и с размаху залепил ей пощечину. Удар был такой силы, что ей чуть не снесло голову. Но мама не издала ни звука. Не упала, как беспомощная. Наоборот, она стала выше ростом.

— Перед Богом свидетельствую, — повторила она.

Краснокожий сорвал с плеча винтовку, и у

маминых ног в землю впились пули. Мама не шелохнулась.

— Сэр, я Богом клянусь, — не сдавалась она.

Офицер что-то рявкнул, и двое карателей, схватив маму за плечи, потащили ее в сторону шалашей. Даже теперь она не закричала. Будто язык проглотила.

Я хотела броситься следом, но струсила. И поднять голос в защиту мистера Уоттса тоже струсила. Я не знала, как поднять голос или побежать за мамой, чтобы не навлечь на себя беду.

— Эй, ты. Тебя как звать?

Он почти вплотную приблизил ко мне свое лицо, подернутое пленкой испарины; желтушные глаза высматривали мой страх — так одна собака принюхивается к другой.

— Матильда, сэр.

— Эта женщина тебе родня?

— Она моя мама, сэр.

Заслышав это, офицер прокричал что-то солдатам. Один из них подошел и ткнул меня прикладом.

— Пошла, — бросил он.

На ходу он не переставал меня подгонять. Но я уже знала, куда меня ведут.

Когда я оказалась за шалашами, моя мать ле-

жала на земле. Ее подмял под себя краснокожий солдат. Другой солдат застегивал штаны; мое появление его разозлило. Он рявкнул на моего конвоира. Тот ответил, и первый ухмыльнулся. Солдат, придавивший собой мою мать, оглянулся через плечо, и конвоир ему сообщил:

— А вот и дочка ее.

Мама встрепенулась.

Она оттолкнула насильника. Увидев ее наготу, я испытала такой стыд за нас обеих, что не сдержала слезы. Мама принялась молить карателей:

— Прошу вас. Сжальтесь. Посмотрите. Она еще ребенок. Единственная дочка моя. Прошу вас. Умоляю. Пощадите мою дорогую Матильду.

Один из карателей выругался и приказал ей заткнуться. Тот, которого она сбросила, со всей силы пнул ее под ребра, и она, охнув, обмякла. Конвоир схватил меня за локоть и не отпускал.

С хрипом и стонами мама попыталась сесть. Она тянула ко мне руку. Ее лицо исказилось от страха. Мокрые глаза, бесформенный рот.

— Подойди, — выдавила она. — Подойди, родная моя Матильда. Дай тебя обнять.

Я дернулась к ней; солдат отпустил меня ровно на шаг и тут же поймал, как рыбу на крючок. Его дружки заржали.

Весь в испарине, к нам приближался офицер, и у меня мелькнула какая-то надежда.

Он брезгливо посмотрел на мою мать, скорчившуюся в пыли. Его глаза и губы выражали отвращение. Он приказал ей встать. Мама с усилием поднялась на ноги. Она держалась за ребра. А я не могла даже двинуться, чтобы ее поддержать. Меня пригвоздили к месту.

Офицер будто бы угадал мои мысли и чувства. Он как-то странно покосился в мою сторону — не то чтобы ухмыльнулся, но этот взгляд я запомнила на всю жизнь. Стволом взятой у солдата винтовки он задрал мне платье. Мама бросилась к нему:

— Нет! Нет! Не надо, сэр! Умоляю.

Солдат оттащил ее за волосы.

Свидетельница перед Богом, она опять сделалась просто мамой, но офицер этого не заметил. Он видел перед собой только женщину, которая грозилась свидетельствовать перед Богом. Заговорил он негромко, показывая, что владеет собой:

— Ты меня умоляешь, а что у тебя есть? Чем ты мне заплатишь за спасение дочки?

Мама окончательно пала духом. Платить было нечем. Офицер это знал, потому и скалился. Денег

у нас с ней не было. Свиней тоже не было. Свиньи были соседские.

— Я заплачу собой, — сказала она.

— Собой ты уже заплатила моим бойцам. А больше у тебя ничего нет.

— У меня есть жизнь, — ответила мама. — Я заплачу своей жизнью.

Офицер обернулся ко мне:

— Слыхала? Мать хочет за тебя заплатить жизнью. Что скажешь?

Мама не дала мне раскрыть рта:

— Ни слова, Матильда. Молчи.

— Ну уж нет. Я хочу послушать, — сказал краснокожий. Заложив руки за спину, он собрался поглумиться. — Что ты ответишь матери?

Он ждал, но мама заклинала меня взглядом, и я поняла. Нужно молчать. Как будто у меня отнялся язык.

— Мое терпение на исходе, — бросил офицер. — Неужели тебе нечего сказать родной матери?

Я замотала головой.

— Отлично, — процедил он и кивнул солдатам.

Двое схватили маму за плечи и куда-то поволокли. Я ринулась следом, но офицер меня удержал.

— Нет. Ты останешься со мной, — распорядился он.

Я опять видела перед собой желтушные, налитые кровью глаза. Как же надоела ему эта малярия. Как надоело ему все. Как надоело ему быть человеком.

— Отвернись, — приказал он.

Я подчинилась.

И передо мною раскинулась вся красота мира: сверкающее море, небо, трепетные зеленые пальмы.

Я услышала, как он вздохнул. Как пошарил в карманах, чтобы нащупать пачку сигарет. Как чиркнул спичкой. Мне в ноздри ударил запах дыма, и до моего слуха донеслось причмокиванье, похожее на поцелуи. Теперь мы стояли, считай, бок о бок; время тянулось бесконечно, хотя в действительности прошло минут десять. Он не проронил ни слова. Для меня у него слов не было.

Мир большей своей частью переместился неизвестно куда. Большей своей частью он отдалился и от нас двоих, оставшихся здесь, и от всего, что творилось у нас за спиной. Черные муравьишки, ползавшие по моему большому пальцу на ноге. С виду они твердо знали, чем занимаются и куда держат путь. Одно было им неведомо, что они — всего лишь муравьи.

И снова я услышала, как офицер вздохнул. Потом зафыркал. Потом издал довольный полушепот — утробный, как бурчанье в животе, и я поняла: он дает добро на то деяние, которое из нас двоих видел только он.

Чего я не увидела, о том узнала позже. Мою маму приволокли на опушку, куда до этого притащили мистера Уоттса, изрубили ее на куски и бросили свиньям. А я в это время стояла рядом с краснокожим офицером и слушала, как море бьется о риф. Я в это время смотрела в небо и, ослепленная синевой и сверкающим солнцем, не замечала, как собираются грозовые тучи. Тот день вышел таким многослойным, невыносимо многослойным, таким противоречивым и запутанным, что мир утратил всякое ощущение порядка.

Вспоминая те события, я не чувствую ничего. Уж извините, но в тот день я лишилась способности испытывать простые человеческие чувства. Это последнее, что у меня отняли, как прежде отняли карандаш, календарь и кеды, «Большие надежды», спальный тюфяк, крышу над головой — а вслед за тем мистера Уоттса и маму. Не знаю, как принято поступать с такими воспоминаниями. Выбросить из головы — не по-людски.

Наверное, единственный способ — доверить их бумаге и как-то двигаться дальше.

Это я и сделала, но не перестала размышлять о том, что дело могло бы обернуться по-другому. Возможность была. Маму никто не тянул за язык. Я задаю себе один и тот же вопрос: допустим, меня бы изнасиловали — неужели это чрезмерная цена за спасение маминой жизни? Вряд ли. Я бы выжила. А может, мы бы с ней обе выжили.

Но тут я всегда вспоминаю слова мистера Уоттса, сказанные нам однажды на уроке: что значит быть джентльменом. Его представления сейчас устарели. Многие, в том числе и я, полагают, что это понятие следует заменить понятием нравственной личности. Мистер Уоттс говорил, что быть человеком — значит всегда поступать по совести, не давая себе послаблений. Моя храбрая мама думала о том же, делая шаг вперед, чтобы засвидетельствовать перед Богом хладнокровное убийство мистера Уоттса, приходившегося ей заклятым врагом.

~~~

Кажется, мы остались живы. Ведь это мы, а не призраки занимались похоронами, хотя наши языки и сердца сковало горем. Наверное, я дышала. Сама не знаю как. Наверное, сердцу пришлось и дальше гнать по жилам кровь. Я его об этом не просила. Будь у меня рычаг, за который можно дернуть, чтобы отключить жизнь, я бы, скорее всего, протянула к нему руку.

Люди выжидали, пока не убедились, что краснокожие ушли далеко в джунгли. А убедившись, забили всех свиней. Только так можно было предать земле мою маму и мистера Уоттса. Мы закопали в землю свиней.

Дэниела нашли в тот же день, чуть позже, у горной тропы, распятым в кроне дерева. Его лодыжки и запястья были привязаны к нижним и верхним ветвям, а рот распирал древесный сучок; над его телом, с которого содрали кожу, жужжали мухи. Его похоронили вместе с бабушкой.

Я почувствовала, что люди и смотрели за мной, и присматривали. Я почувствовала с десяток ненавязчивых проявлений заботы.
~~~

С наступлением темноты я прилегла, но сна не было. Равно как и слез. Я лежала на боку, глядя на опустевшее мамино место, и видела отблески лунного света у нее на зубах и ее молчаливый триумф.

Должно быть, я все-таки заснула, потому что разбудил меня ветер непривычного направления. Он крепчал, пронзительно выл, бесновался, как тысяча фурий, а потом безропотно сошел на нет. Последовал могучий раскат грома, способный обрушить небо. Не думаю, что в это время кому-то удалось заснуть. Небо рассекла молния. Затем, как и прежде, всё накрыла бесконечная тишина — и нас самих, и птиц, и деревья.

Море содрогнулось, зарядил дождь. Небывалый дождь. Он был не из тех косых дождей, что налетают на берег с ветром и загоняют тебя за деревья. Этот дождь, подобно камнепаду, обрушивался отвесно вниз. В бледном утреннем свете он взрывал грязь на истоптанной земле. Как сказал кто-то на следующий день, боги пытались смыть вчерашние злодеяния.

Дождь в тропиках теплый; по всему, он должен был вскоре утихнуть. Меня ждали неотложные дела. Мне предстояло подняться по склону, чтобы известить миссис Уоттс о смерти ее мужа. Так

пожелал бы сам мистер Уоттс. А от непогоды можно было укрыться под деревьями. Главное — пересечь открытое место, где плясала грязь.

В другой раз я бы припустила бегом. Но сейчас пошла размеренным шагом, потому что не чувствовала дождя. Пусть льет. Мне было безразлично. Мне теперь многое сделалось безразлично. Заметив, куда несут меня ноги, я сделала крюк, чтобы обойти стороной то место, где мы закопали свиней.

Но было уже поздно. Мысль о свиньях высвободила другие мысли, и у меня перед глазами в очередной раз возникло обмякшее тело мистера Уоттса. Я увидела блеск мачете. Увидела, как окровавленного повстанца небрежным пинком отправляют к свиньям, потому что он стал бесполезен после выдачи таинственного мистера Пипа. Увидела краснокожего, подмявшего под себя мою маму, — его лоснящийся зад, спущенные до лодыжек штаны. Услышала, как всхлипнула моя мама; этот всхлип до сих пор не идет у меня из головы. Мне в ноздри ударил запах табака; чавканье грязи напомнило, как причмокивал стоявший рядом со мной офицер, пока я, повернувшись спиной, обозревала прекрасный мир.

Так я брела куда глаза глядят, забыв о цели

своей вылазки, — разве что прибавила ходу. Рассчитывала убежать от своих мыслей. Потому и заспешила. Будь я в трезвом уме — сообразила бы, что приближаюсь к ущелью.

Из-за деревьев до меня донесся шум вышедшей из берегов реки. Я не связала эти два события: ливень и паводок. Дождь если и отметился в моем сознании, то лишь одной мыслью: «Промокла». Но по зрелом размышлении, это был самый мокрый и настырный дождь на моей памяти. Он словно призывал к серьезности и вниманию.

Но, даже подойдя к реке, я не вняла его призывам, не заметила стремительных изменений. Только что река была метрах в пятидесяти слева от меня. А через мгновенье клокочущий бурый поток уже ревел где-то у меня под боком, унося щепки и поваленные деревья в сторону открытого моря.

Разлившаяся река не похожа на приглаженное, отливающее алюминием полотно, которое показывают по телевизору. Она кружит и вздымается на дыбы. Лопается от злости на саму себя. Проваливается в водовороты, выныривает на поверхность, рвется из тесных излучин, приступом берет берега, жадно вгрызается в дерн и отправляет изрядные куски в свои ускоряющиеся

воды. Она ловит все на своем пути. И чудом не поймала меня..

А хоть бы и поймала — неважно. Мне было все равно, потому что у меня отняли самое дорогое: маму и мистера Уоттса. Отец был где-то далеко, и добраться до его мира не было никакой надежды. Я осталась одна. Пусть бы река меня поймала — я бы не противилась.

Я будто бы напрашивалась, чтобы меня подхватило потоком и куда-нибудь унесло, и в этот миг мне навстречу хлынула толща воды глубиной по колено. Не замешкайся я — успела бы вскарабкаться повыше. Но я этого не сделала. Не потому, что искала смерти. А просто от неожиданности.

Что-то твердое садануло меня по колену — не иначе как тяжелый древесный ствол. Мне было не видно. При всем моем оцепенении боль оказалась резкой. Я невольно подняла ногу, схватилась за колено, и в тот же миг поток подхватил меня, как щепку, и бросил на съеденье реке.

По семейному преданию, отец научил меня плавать, столкнув с пирса. Мама еще приговаривала, что я родилась с плавниками. Без этих плавников я бы камнем пошла ко дну. Одним словом, воды я не боялась. Поэтому сейчас меня охватило только изумление. Слишком уж стремительно все про-

изошло. Только что я стояла на твердой земле. А в следующий миг вода сгребла меня в охапку и бросила в сильный поток. Я включилась в гонку к морю. Это было даже интересно.

Мне пришло в голову, что как раз сейчас можно все прекратить единым махом. Не сопротивляться, покориться — и дело с концом. Паводок только этого и ждал, и я подумала, что все будет очень просто, но тут река круто изменила свой норов. Меня вдруг стало затягивать под воду.

Наконец-то я поняла, что должна сделать. Я должна была выжить.

Мы все принимаем это как данность, но когда дело доходит до крайности, когда тебе не хватает воздуха, ты начинаешь бороться. Ты наконец-то понимаешь, что тебе нужно. Тебе нужен воздух.

Глаза застилало илом. Река бесновалась, как зверь. У нее вдруг выросли лапы с когтями. Она хватала меня за ноги. Тянула ко дну. Я с трудом выныривала на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. И так повторялось раз за разом. Неодолимая сила тянула меня за ноги вниз. Не отпускала. Раз десять вода накрывала меня с головой, и я думала: до чего же нелепо будет так сгинуть. Какая неосторожность. Какая глупость.

Я воочию представляла, как отец поникнет

головой, узнав, что я утонула. И когда у меня из легких вышел последний воздух, мысль об отцовской скорби вытолкнула меня на поверхность. Час назад мне было все равно, что со мной станется. Но это прошло. Теперь я просто обязана была выжить.

В какой-то миг я ударилась обо что-то большое и твердое. Ослепленная и сбитая с толку, я решила: слава богу, меня выбросило на берег. Земля. Я почувствовала ее твердь, ее прекрасную надежность. Но, протянув руку, обнаружила, что меня прибило к толстенному бревну.

Уж не знаю, каким деревом был этот комель при жизни. У него не осталось ни ветвей, ни листьев. Кора сделалась скользкой. Напиталась водой, как губка. Это было просто бревно, но тогда, среди бешеного потока, «просто бревно» значило куда больше, чем «просто девочка». Ведь бревно всегда выживет. Пусть его переворачивает течение, пусть швыряет вперед стремнина, оно рано или поздно окажется на берегу. И там, вспоминая свои злоключения, будет подставлять бока солнцу и с каждым днем уходить все глубже в песок. Оно выживет. И я подумала: за него и надо держаться.

Стремительный поток быстро дотащил нас до

того места, где река разделялась на два рукава. Нас с бревном бросило в левый рукав (говорю так для простоты), и это оказалось удачей, потому что сильное и неуемное речное течение здесь успокоилось и бурой лентой потянулось к морскому побережью.

Кого можно назвать спасителем? Единственное имя приходило мне в голову: мистер Джеггерс. Поэтому я не задумываясь нарекла спасительный комель мистером Джеггерсом, в честь того, кто спас жизнь Пипу. Всяко приятнее держаться за мистера Джеггерса, чем за осклизлое, мокрое бревно. С бревном даже не поговорить. А с мистером Джеггерсом можно.

В конце концов река излилась в широкую спокойную дельту. По моим расчетам, вблизи находился старый, заброшенный аэродром. И очень хорошо. Я больше не боялась. Нам светило выжить. Эта мысль уже не казалась самой главной. Лучше бы она посетила меня раньше, когда поток изо всех старался со мной расправиться. Но у него ничего не вышло. Теперь мы точно должны были спастись, без вариантов, — и жить дальше.

Я превратилось в сердцевидное семечко, про которое нам рассказали в школе. Путешествие мое только начиналось: мне суждено было по-

пасть в другое место, в другую жизнь, в другой уклад. Я еще не знала, где и когда.

Мне показалось, что вдали замаячила крыша школы. Если бы удалось направить в ту сторону мистера Джеггерса, то вскоре можно было бы его отпустить и перебраться на крышу.

Дождь перестал. Клейкий воздух разбивался на высокие облака. Сверху донесся глухой треск пропеллера. Закрыв глаза, я ждала, что меня расстреляют краснокожие. Деваться было некуда. Они, конечно, меня заметят — и все. Но через мгновение вертолет скрылся за облаками и застрекотал прочь.

И снова пошел дождь. Неспешный, ровный, он укутал школьную крышу серой дымкой. Я вцепилась в мистера Джеггерса, засомневавшись, что нас принесло в нужную сторону.

Меня страшило, что нас унесет обратно в реку и подхватит течением. А потом выбросит в море, но у меня уже не хватит сил бороться. Терзаясь этими мыслями, я услышала в серой дымке всплеск весел и различила темный нос лодки. Гребца я узнала сразу! А теперь еще увидела Гилберта и его мать, а с ними еще какую-то женщину, немолодую. Я закричала, размахивая одной рукой.

Через считаные минуты меня уже втянули в

лодку, в чудесный, легкий мир над водой. Меня обнимали. Гладили по щекам, целовали. Только сейчас я почувствовала, как болят у меня руки.

Перегнувшись через борт, я поискала глазами своего спасителя. Мистер Джеггерс, казалось, с грустью осознал, что он — не более чем бревно, а неблагодарная Матильда, которая цеплялась за него в буйстве водной стихии, — счастливая избранница судьбы.

Вскоре бревно проплыло мимо нашей лодки, то ныряя в воду, то высовываясь на поверхность. Вздымаясь на волне, оно будто спрашивало, не найдется ли ему местечка среди нас. Но видела это только я одна.

После того как все по очереди (даже Гилберт) меня обняли, миссис Масои заулыбалась сквозь слезы. Прижалась ко мне щекой. Мистер Масои не проронил ни звука. У него на уме было другое. Он шепотом приказал нам умолкнуть. А потом развернул лодку и направил ее в открытое море.

Позже я узнала, что они просто дожидались темноты. И отец Гилберта на самом деле уже велел им приготовиться, но тут они завидели меня, вцепившуюся в мистера Джеггерса.

Среди ночи меня разбудили мужские голоса. Приглушенные, неспешные, мягкие голоса. В

темноте маячило какое-то темное судно со слепящим прожектором. Свет был волшебный, только слишком яркий. Пара сильных рук подняла меня под мышки. Наверное, это был отец Гилберта, а может, и нет. Знаю одно. Первая пара глаз, которую я увидела перед собой, смотрела из черного лица. В этих глазах я различила тревогу. С тех пор я не раз задумывалась: что же увидел тот человек и что подумал. Я запомнила только одно. На ногах у него была обувь. Ботинки.

Мне стало легче. Я оказалась в безопасности. Наверное, радовалась. Нас ведь спасли, выудили из моря. Но это я строю догадки: все мои воспоминания о тех событиях умещаются в горстку долговечных подробностей. Принадлежавшая отцу Гилберта лодка, та самая, которую он у меня на глазах вытаскивал на берег вместе с мистером Уоттсом, казалась совсем крошечной, когда я смотрела на нее с палубы баркаса. Помню, мне дали какое-то сладкое питье. Позже я узнала: это был горячий шоколад. Горячий шоколад. После зрелища ботинок это было второе впечатление от внешнего мира. За этим последовал мягкий матрас, на который меня уложили, а потом — урчанье двигателя.

Высадились мы в каком-то месте под названи-

ем Гизо. Рассветное солнце уже сжигало горный туман. За деревьями виднелся ряд крыш. Поблизости залаяла собака. Стоило нам пришвартоваться, как на пирс прибежало с десяток веселых черных ребятишек. За ними строевым шагом пришли люди в форме. Мужчины в шикарных рубашках. В этом городке мы заночевали. Вероятно, о чем-то переговаривались между собой. Вероятно, поздравляли друг дружку с чудесным спасением. Хочу верить, что мы нижайше поблагодарили мистера Масои. Но сейчас уже точно не помню.

На другой день мы отправились в Хониару; прибыли туда в сумерках. Нас встретили полицейские и отвезли в больницу. Меня осмотрел белый доктор. Он велел мне открыть пошире рот и посветил в горло фонариком. Проверил кожный покров. Заглянул в уши. Разделил на пробор волосы. Я не могла понять, что он там ищет. Затем он взял другой фонарик и стал светить мне в глаза. Помню, он еще сказал: «Матильда — красивое имя», а когда я заулыбалась, спросил, что тут смешного.

Я только помотала головой. Рассказывать про мистера Уоттса я была не готова. Если еще один белый человек отметил, что у меня красивое имя, это еще не повод упоминать мистера Уоттса.

Доктор измерил мне температуру. Послушал сердце и легкие. Все искал, где у меня болит. Но ничего не нашел. У него в кабинете чего только не было. Бумага. Ручки. Папки. Картотеки. И большая фотография, на которой он играл в гольф. Стоял, наклонившись, с клюшкой в руках, и вид у него был такой же сосредоточенный, как теперь, когда он меня осматривал. На стене я заметила календарь. Попросила разрешения подойти. И обнаружила, что сейчас сентябрь. Картинкой к этому месяцу служило изображение белой парочки, которая рука об руку гуляла по песчаному пляжу. Год был тысяча девятьсот девяносто третий. Значит, мне стукнуло пятнадцать, только я пропустила свой день рождения.

Доктор откинулся на спинку кресла. Отодвинулся от стола и согнул белые колени. Подпер подбородок обеими руками. Его доброе лицо меня изучало.

— Где твой папа, Матильда?

— В Австралии.

— Австралия — большая страна. В каком он городе, знаешь?

— В Таунсвиле.

Тут он распрямил ноги и подвинулся к столу, чтобы взять ручку.

— Папу как зовут? Полное имя?

Я сказала, и он у меня на глазах записал. Джозеф Франсис Лаимо.

— А маму — Долорес Мэри Лаимо, — добавила я.

Он принял прежнюю позу и опять стал меня изучать поверх согнутых рук и белых коленок.

— Можешь рассказать мне про маму, Матильда?

~~~



Помню, отец в открытке написал, что посмотрел вниз из иллюминатора и увидел, как мал наш остров. Теперь я вдобавок поняла, что он имел в виду, говоря: самолет завалился набок, но не упал с неба, а иллюминатор весь наполнился видом.

Подо мной раскинулась утопающая в зелени Хониара; чем выше мы поднимались, тем меньше становились ее игрушечные крыши, а потом все заслонила синева. Я улетала в Таунсвиль, к отцу.

Что такое расставание, я знала и раньше. А от Пипа я узнала, как расстаются с родными местами. С ними расстаются без оглядки.

Гилберта и его родных я больше не видела. Не знаю, как сложились их судьбы. Надеюсь, счастливо.
~~~

В воздухе мы провели много часов. В самолете оказалось прохладно, и это ощущение тоже было внове: гусиная кожа. Очевидно, я задремала, потому что при следующем взгляде в иллюминатор уже увидела Австралию — плоскую, в прожилках, серую, как шкура. В общем, не так уж было далеко. Я не могла дождаться, когда же самолет приземлится, но он еще очень долго не шел на снижение. У меня скрутило живот, но не потому, что меня пугала посадка. Я беспокоилась, как отнесется ко мне отец. Надеялась оправдать его ожидания.

На мне были новые туфли, новая юбка и новая белая блузка. В бумажном пакете лежали старая юбка с блузкой — сущие лохмотья — и зубная щетка.

Не заметить чернокожего в Таунсвиле трудно, особенно в аэропорту, если он стоит в дверях терминала и машет обеими руками, сверкая улыбкой от уха до уха. Еще на летном поле мне бросилось в глаза, что отец окончательно уподобился белым — это во мне проснулась мамина критическая жилка.

Он пришел в шортах и полуботинках. Под белой рубашкой выпирал толстый живот. Отец и пиво были друг к другу неравнодушны. Так

говаривала мама.

На летном поле человек с сигнальными флагами дал отмашку, направив самолет на стоянку. Теперь настала очередь отца: широко раскинув руки, он встал в позу того же сигнальщика. Лицо меня не слушалось. Я хотела улыбнуться, но у меня защипало глаза — и тут же хлынули слезы. От счастья.

У отца на шее была серебряная цепочка. После первых объятий он ее снял и надел на меня. Думаю, у него просто возник порыв чем-нибудь со мной поделиться, а цепочка оказалась под рукой. Ношу ее по сей день.

— Гляди-ка ты, — приговаривал отец. — Гляди-ка ты.

Сияя белозубой улыбкой, он обвел взглядом толпу встречающих, как будто приглашал каждого полюбоваться. Потом он спросил, есть ли у меня багаж.

— Только это, — ответила я, подняв бумажный пакет.

Папа оторвал меня от земли и закружил. Я не знала, получил ли он известие о маме. Мне показалось, он ожидал увидеть в аэропорту нас обеих. Но он ничего не сказал и ничем себя не выдал.

Положив руку мне на плечо, отец собрался

вывести меня через аэровокзал на таунсвильскую жару. Напоследок он обернулся и быстрым взглядом окинул пустую гудроновую дорожку. Заметив, что от меня это не укрылось, он улыбнулся сквозь остекленевшие глаза и перешел на другое.

— Надо тебя слегка подкормить, — сказал он. — Я тебе купил именинные торты за пропущенные дни рождения — сразу три.

— А нужно четыре, — сказала я.

Он хмыкнул и повел меня через прохладный зал, не убирая руку с моего плеча.

Я стала ходить в местную среднюю школу. Многое пришлось наверстывать, и поначалу я сидела в классе с белыми ребятами значительно младше меня.

Уже на второй день я пошла в школьную библиотеку — посмотреть, есть ли там «Большие надежды». Книга стояла на полке — не спрятанная, не убранная «в надежное место», а в свободном доступе: подходи и бери. Издание в твердом переплете. Мне еще пришло в голову: это на века. Я села с книгой за свободный стол и начала читать — собственными глазами, впервые в жизни.

По сравнению с тем, что мне запомнилось,

текст оказался более многословным. Гораздо более многословным и более запутанным. Если бы не имена персонажей, разбросанные на страницах, я бы не догадалась, что читаю тот же самый роман. Потом меня посетила неприятная мысль. Мистер Уоттс на уроках читал нам другую версию. Облегченную. Придерживаясь лишь самых основных фактов, он упрощал предложения и переиначивал текст, чтобы история улеглась у нас в головах. Мистер Уоттс переписал шедевр мистера Диккенса.

Я озадаченно продиралась сквозь эту «новую» версию книги, водя пальцем по каждой строчке, содержавшей незнакомое слово или предложение. Читала я крайне медленно. А дойдя до конца, сразу же вернулась к началу, чтобы уточнить для себя, как именно поступил с текстом мистер Уоттс и не напутала ли чего-нибудь, к своему огорчению, я сама.

Наши детские попытки восстановить текст были сродни потугам восстановить каменный замок при помощи соломки. Запоминали мы кое-как; все наши старания были обречены на провал, потому что учитель с самого начала не показал нам общую картину. Я, например, изумилась, когда обнаружила, что в романе есть такой

персонаж — Орлик. Он соперничал с Пипом за расположение Джо Гарджери. Он напал на сестру Пипа и забил ее до полусмерти, оставив бессловесной калекой. Он даже на Пипа покушался! Почему же мистер Уоттс нам этого не сказал?

Кроме того, на болоте, как оказалось, скрываются двое беглых арестантов, а не один — Мэгвич, который подстерегает Пипа на кладбище. Почему мистер Уоттс ни словом не упомянул второго арестанта? Когда мне встретилось имя Компесона, я вообще не поверила своим глазам. Стала читать дальше и узнала, что это заклятый враг Мэгвича. Дальше — больше: Компесон и есть тот самый негодяй, который не приехал за мисс Хэвишем в назначенный день свадьбы. Через много лет не кто иной, как Компесон, выдает поимщикам Мэгвича, когда тот вместе с Пипом и Гербертом Покетом выходит на лодке в реку, чтобы сесть на пароход и убраться из Англии. Здесь все понятно. Пип выступает в своей прежней роли спасителя. Только на сей раз — безуспешно.

По версии мистера Диккенса, когда Компесон направляет в их сторону шлюпку с поимщиками, Мэгвич набрасывается на своего старого неприятеля. Враги падают за борт. Под водой начинается схватка, из которой Мэгвич выходит победи-

телем — обреченным победителем, поскольку Компесона уносит из повествования приливной волной. На этом сюрпризы не закончились. Оказывается, Эстелла — родная дочь Мэгвича. В свое время он оставил ее на попечение мисс Хэвишем. Надо понимать, честь мисс Хэвишем восстановлена: Мэгвич разделался с Компесоном, но какой ценой? Одна за другой рушатся человеческие судьбы.

Вначале допущенные мистером Уоттсом пропуски меня раздосадовали. Почему он не придерживался версии мистера Диккенса? От чего нас оберегал?

Возможно, от себя, а возможно, от упреков моей мамы, что, в принципе, сводится к одному.

Во время спора насчет Пипа и дьявола возникла проблема выбора слов. Мистер Уоттс, всегда искавший мирных путей, пытался навести ее на мысль, что человеку иногда мешает его воображение. Но моя мама, во всем желавшая одержать верх, возразила, что этому мистеру Диккенсу, будь он неладен, тоже кое-что мешает.

В тот раз она задержалась в классе, чтобы послушать, как мистер Уоттс будет читать «Большие надежды», и запомнила одну фразу, вызвавшую у нее безмерное раздражение. *«Понемногу свы-*

каясь со своими надеждами, я невольно стал замечать, какое действие они оказывают на меня и на окружающих меня людей». Мы, ученики, с трепетным волнением ожидали дискуссии между моей матерью и мистером Уоттсом. Нас-то это высказывание о росте личности никак не задевало. В самом деле, с таким же успехом можно было проговорить его в открытое окно — и нисколько не задеть ни траву, ни цветы, ни вездесущие лианы.

Но моя мама высказалась в том смысле, что банальности — еще не самое страшное. Ее больше возмутило это «невольно». К чему здесь такое слово? Оно только сбивает с толку. Если бы не это идиотское «невольно», чтоб ему пусто было, она бы усвоила сказанное с первого раза. А из-за этого «невольно» заподозрила какой-то подвох.

Она заставила мистера Уоттса повторить одиозное предложение целиком, и мы, дети, как ни странно, поняли, что она имела в виду. Да и мистер Уоттс, наверное, понял. Она добавила, что это не просто «английские выкрутасы». Это известная уловка: все равно как поперчить пресную еду или пришить к белому платью красную или синюю кайму — так же и это слово, «невольно», используется лишь для того, чтобы приукрасить

обычную речь. Она сочла, что мистер Уоттс должен вычеркнуть обманное слово.

На это он прежде всего возразил, что не имеет такого права: никому не дозволено вмешиваться в творчество Диккенса. И слово, и вся фраза принадлежит только писателю. Вырвать неудобное слово — это акт вандализма, все равно как разбить окно часовни.

Так он сказал — и, насколько я понимаю, с того самого дня поступал как раз наоборот. От повествования мистера Диккенса он отрезал расшитую кайму, чтобы не напрягать наш детский слух.

«Мистер Диккенс». Мне потребовалось немало времени, чтобы отучиться величать его «мистером». Но при этом мистер Уоттс остался мистером Уоттсом.

В Таунсвиле я с переменным удовольствием осваивала творчество Диккенса. Прочла романы «Оливер Твист», «Дэвид Копперфилд», «Николас Никльби», «Лавка древностей», «Повесть о двух городах», «Холодный дом». Но «Большие надежды» остались вне конкуренции. Эта книга не могла мне надоесть. С каждым разом я находила в ней все больше нового. Естественно, для меня там очень много личного. До сих пор признание Пипа: *«Бесконечно тяжело стыдиться родного*

дома» — вызывает у меня точно такое же чувство по отношению к нашему острову.

Если углубиться в текст, то можно увидеть, что в восемнадцатой главе Пип принимает решение больше не возвращаться к прежней жизни на болотах. У меня подобное решение созрело намного раньше. Когда я, еще перепуганной чернокожей девчонкой, не оправившейся от страшного потрясения, увидела из иллюминатора зеленую Хониару, ко мне пришло понимание, что возврата к прошлому не будет.

Моя мама осталась среди всего того, что я пыталась забыть. Мне не хотелось вычеркивать ее из памяти. Но всегда была опасность, что меня станут раздирать другие воспоминания. Что я опять увижу карателей и почувствую запах материнского страха, будто она и сейчас стоит рядом со мной — на автобусной остановке или в библиотеке.

Но порой я ничего не могла с собой поделать. Не могла запереть дверцу того маленького закутка у себя в голове, куда ее поместила. Мама жила в нем по своим часам и в любой момент могла нагрянуть без предупреждения. Распахнуть эту дверцу и хлопнуть себя ладонями по бедрам, словно спрашивая: «Боже милостивый, это что

ж ты удумала?» А я-то всего лишь заглянула в парфюмерный отдел. Вот и все. Или краем глаза покосилась на презервативы в застекленной витрине за спиной у кассирши. Такие вещи пока не входили в мой мир, но я уже понимала, что это время не за горами.

А порой мама появлялась там, где и следовало ожидать. Как-то раз в отделе нижнего белья рядом со мной оказались мамаша с дочкой. Мамаша зарылась в бюстгальтеры, как свинья в патоку. Хватала один за другим и размахивала перед кислой физиономией дочки. Девушка скрестила руки на груди, чтобы отгородиться. Она наотрез отказывалась играть с матерью в эти игры. Скрещенные на груди руки поставили непроходимый заслон материнским советам.

Ни эту девушку, ни ее мамашу я не знала. Но сразу поняла, что между ними висит напряжение. Безмолвное, но сильное, как изреченное слово; невидимое, но прочное, как стена.

Я зазевалась — и получила по ногам проулочной детской коляской. Сзади на меня завопил белый мальчуган.

— Извините, — сказала мне его мать.

Так я и бродила по миру матерей с детьми — как по зоопарку, с удивлением и опаской.

Старшеклассницей я победила в городском конкурсе по английскому языку и литературе. Меня пригласили на сцену для вручения почетной грамоты, и я, повернувшись к залу в ответ на аплодисменты, увидела отца, который вскочил с места и вскинул руки. Он был до смешного счастлив. В его глазах я стала чемпионкой. Он так и прозвал меня: «Чемп». Когда к нам приходили гости, он вытаскивал меня из комнаты и предлагал: «Задайте ей любой вопрос по Чарльзу Диккенсу».

Он так мною гордился. У меня не хватило духу рассказать ему про мистера Уоттса. Не хотелось лишать его иллюзии, будто это он сам меня так воспитал.

Я окончила квинслендский университет. На втором курсе, в начале третьего семестра, отец прилетел ко мне в гости. Я поехала его встречать и, к своему изумлению, увидела рядом с ним женщину, которая раз в неделю приходила к нему делать уборку. Звали ее Марией. Она была родом с Филиппин и по-английски объяснялась с трудом. Сейчас она шла по гудрону под руку с моим отцом. На лбу у нее проступил пот. Заметив, как нервничает отец, я по-детски успокоилась. Он не разлюбил свою Матильду.

Но после того как Мария переехала к нему

жить, все стало по-другому. Она старалась. И даже слишком. Хотела, чтобы я ее полюбила. Но я не могла относиться к ней как к матери. Мария попросила меня рассказать ей о маме. Призналась, что отец с ней не делится. Мне было приятно это слышать.

Мама осталась в воспоминаниях, которыми не делятся направо и налево; а кроме того, любое упоминание о ней переносило нас мыслями на остров, но ни мне, ни отцу не хотелось туда возвращаться. Мария понимала, что не сможет заменить мне маму, но когда она попросила ее описать, я только и смогла ответить:

— Она была очень храброй, самой храброй, и еще… все время ругала отца.

Мария рассмеялась, да и я улыбнулась, потому что меня оставили в покое.

Меня иногда спрашивают: «Почему именно Диккенс?» — и мне всякий раз слышится в этом вопросе незлобивый упрек. Я указываю на ту единственную книгу, которая открыла мне другой мир, когда я в этом отчаянно нуждалась. Она же дала мне друга — Пипа. Она показала, что можно влезть в чужую кожу, как в свою собственную, даже если это белая кожа, принадлежащая пареньку, который жил сто семьдесят лет назад в

диккенсовской Англии. Если это не волшебство, то что же?

Но я сама ни за что не стану навязывать «Большие надежды» другим, и в особенности отцу. Памятуя, как огорчила мистера Уоттса неспособность Грейс полюбить то, что любил он сам, я не ищу таких разочарований для себя; а кроме того, не хочется, чтобы отец — как, наверное, Грейс, — чувствовал себя щенком, которому суют под нос блюдце с молоком в виде книги. Нет уж. Есть вещи, которые лучше не смешивать.

Некоторое время я работала в большой католической школе для мальчиков в Брисбене — замещала других учителей. Там я узнала, что у каждого преподавателя есть материалы на всякий пожарный случай. Для меня таким подспорьем стало чтение вслух романа «Большие надежды». Приходя в незнакомый класс, я просила внимания учеников ровно на десять минут. Всё. Если через десять минут им станет невмоготу — никого удерживать не буду. Такое предложение всегда принималось на ура. В жилах у подростков кипела бунтарская кровь. По дерзким лицам было видно, что этих голыми руками не возьмешь.

Пряча улыбку, я начинала с первой главы — с той сцены, где каторжник хватает Пипа за под-

бородок. «Где ты живешь? Покажи!» Чтение Диккенса невозможно без определенной подготовки. Нельзя съесть спелую папайю, чтобы не перепачкаться мякотью и соком. Так и стиль Диккенса требует, чтобы у тебя особым образом ворочался язык, а с непривычки можно и челюсть вывихнуть. Словом, я держала в голове, что ровно через десять минут должна умолкнуть. Подняв голову, я выжидала. Не было такого случая, чтобы кто-нибудь выскочил из-за парты.

К тому времени как начать работу над диссертацией «Образы сирот в творчестве Диккенса», я уже знала больше о том человеке, с которым никогда не соприкасалась, разве что посредством его книг и биографий, нежели о том, кто нас с ним познакомил.

Не устаю благодарить Бога, что Мария подвернулась в нужное время и дала мне повод не возвращаться в Таунсвиль. Им с отцом нужно было притереться друг к другу. Но всякий раз, представляя их в спальне, под медленно крутящимся вентилятором, я избавляюсь от Марии, чтобы поместить туда мою маму. Отцовскую руку кладу ей на плечо. Мамино лицо прячу на груди у отца. И на это лицо примеряю улыбку — ту самую, что видела на фотографии, где оба они еще

молоды и счастливы.

Когда я позвонила предупредить, что не приеду домой на каникулы, в голосе отца послышались нотки облегчения. Он подумал — и не стоило его разубеждать, — что во время летних каникул я собираюсь поработать; мне не хотелось посвящать его в свои планы знакомства с прежней жизнью мистера Уоттса в городе Веллингтон, что в Новой Зеландии.

~~~

Стоял декабрь. Я не ожидала таких морозов и сквозняков. Ветер кидался на деревья и на людей. Он гнал бумажки — никогда не видела такой прорвы бумажного мусора — по асфальту и налеплял на опоры линии электропередач. Морские птицы даже не поднимались в воздух, а просто расхаживали по школьной площадке, которую я проезжала на такси.

Я думала о Грейс: как она абитуриенткой глядела из окна такси — точь-в-точь как я сейчас, приближаясь к центру небольшого, но оживленного городка. Остановилась я в шумной молодежной гостинице. Туда устремлялись ребята с рюкзаками со всех концов света. Любители альпинизма, пеших походов, прыжков на тарзанках, серфинга, горных лыж и спиртного.

На меня нахлынули рассказы мистера Уоттса о жизни в его мире. Куда ни глянь — кирпичная кладка. И трава. Мистер Уоттс не обманул. Трава здесь на особом положении. Она прорастает в подоконники. Ковровой дорожкой покрывает улицы. Стелется по холмам.
~~~

Если мистер Уоттс скрыл от нас некоторых персонажей Диккенса, он вполне мог скрыть и кое-какие обстоятельства собственной жизни.

Я полистала телефонный справочник. Фамилия Уоттс значилась там сорок три раза. С девятой или десятой попытки я услышала от очередной госпожи Уоттс:

— Ага, вам, наверное, нужна Джун Уоттс…

Она назвала улицу, и я в том же справочнике нашла точный адрес некой Дж. Уоттс. Действительно, на другом конце ответили:

— Алло, Джун Уоттс слушает…

— Скажите, а вы знаете такого мистера Уоттса?

В трубке наступила пауза. А потом:

— Кто это говорит?

— Меня зовут Матильда, миссис Уоттс. Ваш муж был моим учителем…

— Кто — Том? — Я подумала, что сейчас услышу хохот, но она только фыркнула, так что, вполне возможно, ее это не удивило.

— Это было давно. На острове.

— Вот как, — сказала она. По ее молчанию я поняла, что она собирается с духом. — Тогда, наверное, вы и женщину эту знаете — Грейс.

— Знаю, миссис Уоттс, — подтвердила я. — Но только понаслышке. А лично мы не были знако-

мы. Грейс умерла несколько лет назад.

Ответа не последовало.

— Нельзя ли будет к вам зайти, миссис Уоттс? — решилась я.

Молчание переросло в неодобрение.

— Я надеялась…

— Сегодня у меня дела, — сказала она. — Напомните, вы по какому вопросу?

— Я насчет вашего мужа, миссис Уоттс. Он был моим учителем.

— Да-да. Вы говорили. Нет, сегодня неудобно. Мне сейчас нужно выйти.

— Я могу только сегодня. Завтра мне лететь обратно, в Австралию.

На том конце сделали вдох. Я ждала с закрытыми глазами.

— Ну ладно уж, — выговорила она. — Вы ведь ненадолго, правда?

Она объяснила, как до нее добраться; ехать надо было поездом. От вокзала пришлось минут десять тащиться через микрорайон, застроенный частными кирпичными домами, каждый с небольшим участком земли за глухими стенами — некоторые были сплошь испещрены похабными словами, моя мама тут же схватилась бы за щетку, чтобы их стереть. Или посмотрела

бы на них так, что они бы сами собой скукожились от стыда и хлопьями осыпались на землю. Потом я миновала стадион, который облюбовали птицы — утки, сороки, чайки — и подростки в капюшонах и мешковатых рэперских штанах, скрывающих кроссовки. Оставив позади парк, я увидела горстку неприветливых, обдуваемых ветром домов с засохшими палисадниками.

Джун Уоттс проинструктировала меня очень подробно. Главное — не перепутать половину дома под литерой «А» и половину под литерой «Б». На половине «А» свирепствовала злая собака.

Крупная, медлительная женщина в свободных черных брюках совершенно не ассоциировалась у меня с женой мистера Уоттса. Могла ли я подумать, что жена мистера Уоттса наденет футболку с надписью на груди. Надпись гласила: «Smile». Полагая, что это ее девиз, я улыбнулась. Ответной улыбки не последовало. Наверное, она тоже была в легком шоке от моей внешности. Мы с ней общались только по телефону, а у меня в то время уже был ярко выраженный австралийский акцент. Она никак не могла предположить такой черноты. К тому же на ногах у меня были черные туфли. А мои черные волосы отросли до такой же длины, как во время блокады, когда мама уже

стала грозиться, что перекинет меня через плечо и моими патлами будет чесать себе спину, где самой не достать.

Джун Уоттс затворила за мной дверь и повела в гостиную. Свет, проникавший сквозь тюлевые занавески, приобретал какой-то болезненный оттенок. Ни с того ни с сего миссис Уоттс громко хлопнула в ладоши; я вздрогнула. Раскормленный серый кот недовольно сполз с кресла. После чего кресло было предложено мне, а хозяйка устроилась на диване по другую сторону журнального столика. Миссис Уоттс потянулась за пачкой сигарет и одновременно стрельнула на меня глазами.

— Я закурю, не возражаете? — сказала она. — Нервы разыгрались.

— О, надеюсь, это не из-за меня, миссис Уоттс. — Я посмеялась, чтобы выказать дружелюбие. — Большое спасибо, что разрешили мне зайти. Ваш муж оказал на меня большое влияние.

— Кто — Том?

Она фыркнула, как тогда, по телефону. Закурила сигарету и встала, чтобы открыть окно.

— Я вышла замуж за слабовольного человека, Матильда, — изрекла она. — Не хочу показаться злопамятной, но это правда. Том был слабаком.

Он должен был со мной развестись, а не крутить шашни у меня под носом.

Миссис Уоттс затянулась и медленно выпустила дым.

— Думаю, он вам ничего такого не рассказывал.

Она обернулась.

— Простите, миссис Уоттс. Это вы о чем?

— Эта женщина жила за стенкой. Под литерой «А», где сейчас держат злую собаку — я вам говорила. Мне бы догадаться, откуда ветер дует. Сколько раз его ловила: стоит приложив ухо к стене. Я, бывало, спрошу: «Том, какого лешего ты тут делаешь?» Уж не помню, что он мне плел, каждый раз другое, и, как видите, довольно ловко — я его ни разу не приревновала. Даже когда она угодила в Порируа и он что ни день мотался ее проведать, я и то ничего не заподозрила.

— В Порируа?

— В психиатрическую лечебницу. Попросту говоря, в дурку. — Она умолкла, чтобы затушить сигарету. — Могу чаю предложить, если хотите.

— Не откажусь. Спасибо, миссис Уоттс, — ответила я.

На главной стене висели какие-то фотографии. Я попыталась охватить их единым взглядом. Но

так, чтобы Джун Уоттс не сочла, что я любопытствую. На самом-то деле я, конечно, любопытствовала, просто не хотела этого показывать. Поэтому запомнила только одну — с изображением молодой пары.

У него темные волосы и живое лицо. Смеющийся розово-белый рот. В петлице красный цветок. У нее вид совсем юный, а лицо холодное, не то чтобы сердитое, но готовое рассердиться; нежно-голубое платье, туфельки в тон. Пока миссис Уоттс хлопотала в кухне, я разглядывала цветок в петлице мистера Уоттса. Подозревая, что у нас вскоре иссякнут темы для разговора, я приготовилась спросить название цветка.

Потом я зашла к ней в кухню. Двигалась она еле-еле. По-моему, у нее что-то было неладно с бедром.

— Миссис Уоттс, вы, случайно, не помните, чтобы мистер Уоттс надевал красный клоунский нос?

Бросив в чашку чайный пакетик, она задумалась.

— Ни разу не видела. Хотя меня бы это не удивило.

Я ждала, что она хотя бы поинтересуется, откуда такой вопрос.

Ждать пришлось долго. Будь я собачонкой, встала бы на задние лапы и высунула язык. Но Джун Уоттс так и не проявила интереса. Она выдернула штепсель электрического чайника и наполнила чашки.

— У меня печенье есть. Наше, новозеландское, «афган»[8] называется.

— С удовольствием попробую, миссис Уоттс.

Она сказала:

— Гости у меня нечасто бывают. Я специально выходила «афгана» купить.

— Спасибо за вашу заботу, миссис Уоттс.

Взяв поднос, я последовала за ней в гостиную.

— Я познакомилась с Томом в Управлении по стандартам. Мы вместе работали. Устанавливали стандарты для всего на свете. Соотношение цемента и воды в чем угодно. Мы были молоды. Все тогда были молоды. Когда стареешь, это начинает тебя угнетать. Молодежи поблизости нет. Поневоле начинаешь думать: может, молодых больше не осталось? Может, в наше время только молодые и жили?

Дождавшись, когда хозяйка надкусит печенье, я сделала то же самое. Джун Уоттс подставила

---

[8] Примечания: 8

«Афган» — излюбленное лакомство новозеландцев: покрытое шоколадной глазурью печенье из кукурузных хлопьев с добавлением какао.

ладонь, чтобы не накрошить, и сказала:

— Я почти не замечала эту Грейс. Можно сказать, даже в голову не брала. Она вечно хохотала. — Миссис Уоттс скорчила гримасу. «Вечно хохотала»; я поняла, что это большой минус. — Как законченная пьянчужка.

Она взяла очередную сигарету и чиркнула спичкой. Ее лицо приняло сосредоточенное выражение, какое бывает у курильщиков.

— Ну, как поживает Том? Старый потаскун. Ладно, дело прошлое. Вы его давно видели?

Тут ее внимание переключилось на кота — тот драл когтями обивку кресла, и мне удалось выиграть время. Я быстро собралась с мыслями и приняла решение.

— Во время нашей последней встречи у него все было хорошо, — сказала я. — Но с тех пор прошло уже несколько лет, миссис Уоттс. Я теперь живу в Брисбене.

— У меня уже все перегорело. Много воды утекло с тех пор, в самом деле. Мне бы со своими проблемами разобраться.

Она сделала паузу — вероятно, ждала, что я спрошу, какие у нее проблемы, но мне было неинтересно. Вместо этого я спросила, чем занимался мистер Уоттс в Управлении по стандартам.

— Тем же, что и все остальные. Планы, отчеты и прочее. Я секретаршей была. А Том в редакционно-издательском отделе подвизался.

Тут я, не придумав ничего лучше, спросила наобум:

— Миссис Уоттс, а вам что-нибудь известно про мушку-поденку?

Она посмотрела на меня с недоумением; пришлось объяснить:

— Личинки самок три года лежат в речном иле. Потом они превращаются в крылатых насекомых, взмывают из воды в воздух, и там их сразу оплодотворяют самцы.

Недоумение миссис Уоттс сменилось брезгливостью.

— Это ваш муж рассказывал нам на уроке.

— Кто — Том? В самом деле? Ну, Том немало знал всяких историй. — Ее взгляд упал на стоявшую между нами тарелку. — Берите печенье. У меня много.

Я понимала: стоит мне уйти, как миссис Уоттс позовет своего толстого кота, они усядутся рядышком на диван и будут смотреть телевизор. Кстати, после воссоединения с отцом мне пришлось к нему привыкать. К телевизору. Отец на него покрикивал. Сердился. Тыкал пальцем. Папа

и телевизор смеялись в два голоса, а я в соседней комнате пыталась уснуть. Но я помалкивала, зная, что телевизор и мой отец друг к другу неравнодушны.

Я покосилась на тюлевые занавески. Джун Уоттс решила, что пора впустить в комнату немного синевы. А я не могла представить, как юная стипендиатка, приехавшая с острова, жила здесь, за стенкой, совершенно одна, в такой вот комнате. Я выглянула на белый свет. Там было совсем тихо. Мистер Уоттс однажды сказал нам, детям, что тишина — его родной язык. У него в тот раз было игривое настроение, и он поведал, как в пятилетием возрасте забрался на мусорный бачок и стал молотить по нему шваброй. Бачок не пострадал. А тишина тут же вернулась и заклеила трещины в расколотом мире.

Тогда я сделала вывод, что на родине мистера Уоттса не водятся попугаи. Тамошний воздух не прорезают истошные крики, от которых с непривычки можно окочуриться. Жизнь там пуста; вместо цветов приходится любоваться уличными фонарями, а собаки, рыская по улице, не могут найти, кого бы облаять. Сидя в гостиной у миссис Уоттс и дыша мертвым воздухом, я думала о Грейс, которая видела то же самое небо, те же

медлительные облака. Не иначе как ей на сердце давила та же гнетущая тяжесть, которая сейчас навалилась на меня.

Поднявшись с кресла, я стала прощаться.

— Про театральные дела вы, конечно, знаете, — торопливо проговорила миссис Уоттс.

Сдается мне, это была ее козырная карта. Ей не хотелось меня отпускать.

Оберегая больное бедро, она кое-как села на пол, порылась в низком книжном шкафу и вытащила альбом для газетных вырезок. Стряхнув пыль, она протянула его мне. В альбом были вклеены программы театральных постановок, рецензии, а главное — фотографии мистера Уоттса в самых разных ролях. Я сверилась с программками: «Визит инспектора»[9], «Пигмалион»[10], «Странная пара»[11], «Смерть коммивояжера»[12]. Другие я

---

[9] Примечания: 9

«Визит инспектора» (1946) — пьеса английского прозаика и драматурга Дж. Б. Пристли (1894–1984).

[10] Примечания: 10

«Пигмалион» (1913) — пьеса британского драматурга Бернарда Шоу (1856–1950).

[11] Примечания: 11

«Странная пара» (1965) — пьеса американского драматурга Нила Саймона (р. 1927).

[12] Примечания: 12

«Смерть коммивояжера» (1949) — пьеса американского прозаика и драматурга Артура Миллера (1891–1980).

просто не запомнила. Их было множество, как и фотографий мистера Уоттса в сценических костюмах. Совершенно очевидно, что постановки были любительскими: на фотографиях мелькали руки с занесенными кинжалами, развевающиеся плащи, роковые взгляды ревнивцев, страдальцев, злодеев и мстителей — дешевые и несложные приемы изображения эмоций, заменяющие профессионализм. Я перелистывала страницы.

— Это Том в «Царице Савской», — указала Джун Уоттс. — А вот и она. Шеба драная. У постановщика были жуткие закидоны. — И тут наши взгляды выхватили одну и ту же деталь. — Смотрите-ка! Вы как раз об этом спрашивали. Да-да, я вспомнила. Режиссер велел Тому надеть красный клоунский нос и тащить за собой тележку, в которой будет стоять Царица Савская, — якобы эта мизансцена должна символизировать единение умов. Только не спрашивайте меня, как и почему…

На фотографии мистер Уоттс и Грейс были очень молоды. Без подсказки Джун Уоттс я бы их не узнала. Но больше всего меня удивила Грейс. Она улыбалась. Никогда в жизни я не видела ее улыбку.

Видимо, я слишком долго разглядывала альбом,

потому что миссис Уоттс предложила мне его забрать. Видя мою нерешительность, она сказала:

— У меня он только место занимает.

— Вы уверены?

— Да на что он мне?

— Это очень щедрый подарок.

Джун Уоттс пожала плечами.

— Все равно пылится на полке. А нас тут всего двое — я и мистер Спаркс.

Она имела в виду кота.

Я украдкой посмотрела на часы, и она это заметила.

— Вам пора. Ладно. — Превозмогая боль, Джун Уоттс поднялась с пола.

Когда мы уже прощались в прихожей, она сказала:

— Мой муж был фантазером. Но до свадьбы я этого не знала.

— Миссис Уоттс, вы случайно не знаете, какая судьба постигла Грейс? И почему она попала в психиатрическую больницу?

— Царица Савская. Не смогла выйти из роли, — ответила она. — Не смогла. Не захотела. Решайте сами.

Нахмурясь, она выглянула на улицу.

— Вы поосторожнее. Тут с вас одежду вместе с

кожей сдерут.

Я тоже оглядела застывшую улицу, но не увидела ни души.

Оставалось только поблагодарить хозяйку за новозеландское печенье и за альбом. Я торопилась вернуться в город, но не могла не задать самый последний вопрос:

— Миссис Уоттс, а вам известна женщина по имени мисс Райан?

— Конечно. Эйлин Райан. Когда-то жила вот там, в конце улицы. — Она указала на дом, но тут же спохватилась: — А что?

Я сделала вид, что не слышала.

— А за домом есть большой запущенный парк?

— Был когда-то. Теперь нет. Ее и самой уже нет в живых. Представляете, она была слепая. Эйлин Райан. — Джун Уоттс взглянула на меня. — А вы откуда ее знаете? Том ходил к ней газоны подстригать.

У меня сложился законченный фрагмент. Сценическая роль мистера Уоттса. И что в итоге? Тяга к лицедейству плохо сочетается с искренностью. Достаточно вспомнить его учительские жесты. Взгляд, устремленный в противоположную стену. Глаза, воздетые к потолку. Шаржированная поза, изображающая работу мысли. Кто это был: сам

мистер Уоттс или же актер, игравший роль мистера Уоттса, школьного учителя? Кого мы, дети, видели перед собой в классе? Человека, который всерьез считал «Большие надежды» величайшим романом, написанным величайшим писателем девятнадцатого века? Или того, кто довольствуется крохами, делая вид, что пирует?

Наверное, и то и другое одновременно. Можно, видимо, вылезти из одной кожи и влезть в другую, а по ходу дела совершить путешествие назад, к потаенному ощущению себя. Мы видим лишь то, что видим. У меня нет ни малейшего представления о человеке, которого знала Джун Уоттс. Зато я знаю человека, который взял за руку каждого из своих учеников и показал, как можно переосмысливать мир, угадывать возможность перемен и впускать их в свою жизнь. Твой корабль может приплыть в любую минуту, и корабль этот способен принимать какой угодно вид. Да и то сказать, простое бревно может оказаться твоим мистером Джеггерсом.

Собираясь в гости к миссис Уоттс, я надеялась на большее. Наверное, хотела услышать множество историй. Зато я получила альбом с разгадкой тайны клоунского носа. Во всех других отношениях мистер Уоттс оставался непостижимым, как и

прежде. Он принимал любое обличье, становился тем, кем нам хотелось. Бывают же такие судьбы: они заполняют собой любое подготовленное для них пространство. Нам потребовался учитель — и мистер Уоттс стал учителем. Нам потребовался волшебник, сотворяющий иные миры, — и мистер Уоттс стал волшебником. Нам потребовался спаситель — мистер Уоттс справился и с этой ролью. Когда каратели пожелали забрать чью-нибудь жизнь, мистер Уоттс предложил свою.

~~~



Мистер Диккенс был понятнее мистера Уоттса. Во-первых, о его жизни сохранилось гораздо больше сведений и представлены они наглядно. Библиотечные полки ломятся от книг, посвященных Диккенсу и его творчеству. Интерес к Диккенсу удовлетворить намного проще, нежели, изображая из себя детектива, расследовать обстоятельства жизни мистера Уоттса. Биография Диккенса изучена вдоль и поперек, просеяна через мелкое сито литературоведами, и я готовилась примкнуть к их числу.

Долгое время все мои знания об этом давно почившем человеке ограничивались лишь рассказами мистера Уоттса да еще картинкой, подсмотренной на задней странице обложки
~~~

романа «Большие надежды». На картинке мистер Диккенс выглядел в точности так, как мне хотелось. Особую уверенность внушала его борода. Она у мистера Диккенса не отличалась ухоженностью, но, как у всех белых островитян без определенных занятий, вроде мистера Уоттса, представлялась неизбежной, а потому вполне естественной. Понравилась мне и его узкая грудь, обтянутая жилетом. Я уже тогда решила: добрый. Подтверждали эту мысль его теплые глаза, окруженные морщинами. А теперь о том же говорят мне и его многочисленные статьи о бедняках и сиротах, проштудированные в Британской библиотеке на Юстон-роуд в Лондоне. Передо мной оказались все фрагменты жизни, породившие роман «Большие надежды». Я могла, как сорока, выхватывать любые его бумаги. Изучать его почерк. Рассматривать приметы тех мест, что были у него перед глазами, — каменно-холодные улицы; тщеславно взмывающие вверх здания; бродяг и пьяниц; топкие берега застойных, безнадежных судеб — и сопоставлять их с плодами его воображения. Меня согревало сладкое ощущение своей исключительности, когда я предъявляла читательский билет скучающему вахтеру в черной форме, сидящему за пустым столом.

Входишь в зал с рядами длинных столов, освещенных не слишком ярко и не слишком тускло, а именно так, как нужно. Все устроено так, как нужно. Особенно меня радовало, что можно сделать заказ — в моем случае, любые документы, книги, статьи самого Диккенса или связанные с ним, — и в течение часа в недрах этой великой библиотеки будет найдено абсолютно все. Несколько месяцев я просто блаженствовала.

Временами, правда, мне очень хотелось с кем-нибудь поделиться своими открытиями. Диккенс — как и мистер Уоттс — оказался не совсем таким человеком, каким я его представляла. Трогательно и впечатляюще рассказывая о сиротах, он спал и видел, как бы вытолкать за дверь собственных детей. Чтобы те познали мир. Чтобы домашний уют не задушил их честолюбивые помыслы. Чтобы они сами тяжким трудом пробили себе дорогу в жизни.

Поэтому его сын Уолтер, еще не достигнув семнадцати лет, был отправлен в Индию, где и умер в двадцать два года. Сидней, морской офицер, не дожил до тридцати. Фрэнсис поступил на службу в конную полицию Бенгалии, но из-за своего заикания стал отшельником и умер в Канаде на сорок третьем году жизни.

Альфреда и Плорна Диккенс отсылает в Австралию. Эдвард — его любимец, всегда «дорогой мой Плорн». «Нет надобности говорить, что я нежно люблю тебя и что мне очень, очень тяжко с тобою расставаться. Но жизнь наполовину состоит из разлук, и эти горести должно терпеливо сносить». Австралия, решает отец, его выправит и разовьет в нем природные способности.

Как-то раз я перенесла свою ежедневную поездку в Британскую библиотеку на более позднее время, чтобы с утра посетить бывший приют для подкидышей на Брансуик-сквер. Теперь там разместился Музей сиротства. Это великолепное здание. Поднимаешься по парадной лестнице. На стенах — полотна, изображающие сцены жизни приюта; на некоторых картинах матери стоят в очереди, чтобы сдать своих младенцев. Мне вспомнилось, как моя собственная мама тянула ко мне руки. Помню, как медленно открывался и закрывался ее рот, ловя воздух. А меня будто разрывало на части. Однако на музейных лицах юных мамаш я не увидела ни следа горя. Такие же скучающие физиономии бывают у кассирш в супермаркете. Судя по этим картинам, отказаться от своего ребенка — дело житейское. В галерее наверху я увидела более правдивое свидетельство:

в застекленных витринах теснились пуговицы, желуди, заколки, однопенсовые монетки с просверленными отверстиями — благодаря такой крошечной, трогательной памятке, надеялась мать, ребенок ее не забудет. Эта затея была совершенно бессмысленной, потому что ребенку в приюте сразу давали другое имя. Перемена имени отмечала границу, на которой заканчивалась прошлая жизнь и начиналась новая. Пип мог стать Генделем.

Будь моя воля, финал романа «Большие надежды» я бы перенесла в Грейвсенд. Туда я и отправилась в холодный майский день. Прошла мимо скамеек, где сидели молчаливые индусы в живописных тюрбанах, со слоями скорби на лицах. Я заметила, что они украдкой разглядывали меня, самую темнокожую молодую особу, какую им только доводилось видеть. В их глазах я прочла недоумение. «Что она себе думает? Эта черная девица с белыми глазными яблоками. Что она знает про этот край?»

Я могла бы им ответить, что болотистого края, как в «Больших надеждах», здесь больше нет, что пресловутые болота теперь покоятся под автомагистралями и промышленными комплексами. Я могла бы ответить, что тот болотистый край

нынче берегут новые хранители. Раньше они были чернокожими ребятишками, но, хочу верить, даже повзрослев, они по-прежнему просыпаются рано утром у себя на острове и вспоминают иное время, когда им довелось курсировать между островом и кузницей, затерянной на болотах Англии тысяча восемьсот какого-то года.

В былых диккенсовских местах сегодня надо очень постараться, чтобы представить себе картину прошлого. Пароходы с переселенцами — это призраки. Мужчины и женщины с непокрытыми головами, которые машут платками с палубы, — это образы прошлого, кости в могиле на другом краю света.

Вдоль реки тянется аккуратно вымощенный променад, и, если идти по нему в ту же сторону, куда уплывали пароходы с переселенцами, невозможно не думать о расставании. Уезжай. Двигайся. Вырвись. Переделай себя. Создай себя заново. Вот река, указывающая путь из этого грязного мира. Шагая мимо Миссии, куда переселенцев привозили на лодках помолиться на счастье перед морским переходом в неизвестность, я обнаружила, что возвращаюсь мыслями к своему последнему разговору наедине с мистером Уоттсом.

Об этом разговоре я не вспоминала много лет. Вероятно, подсознательно стерла его из памяти, как и многое другое. А сейчас задумалась: неужели в тот момент, когда мистер Уоттс отвернулся, у него уже созрело решение покинуть остров без меня? Сейчас, по прошествии многих лет, мне кажется, что я тогда ощутила разлуку, последнюю границу. Или правильнее будет сказать не «граница», а «занавес». Между мистером Уоттсом и его самой восторженной почитательницей опустился занавес. Мистеру Уоттсу светило двигаться дальше, а мне — разве что похоронить себя там, где маячат фигуры из прошлого. Мне было предначертано стать крошечной песчинкой на большом острове, а ему — уплыть на лодке мистера Масои из одной жизни в другую. Я не сомневалась, что так оно и случится, — и вполне могло бы случиться, ведь меня постигла именно такая судьба. Уехав, я никогда больше не оглядывалась назад.

Потом я долго ехала на поезде, возвращаясь на станцию «Лондонский мост». Меня охватила необъяснимая подавленность. Как будто я внезапно вернулась в свое прошлое «я». И вернулась в ту самую скорбь, которую впоследствии смыло паводком. Я смотрела в вагонное окно. Даже

молодая, нежная зелень весны не могла развеять мое уныние. Даже проводник, распевающий песни, не вызвал улыбки.

Выйдя со станции, я потащилась вверх по ступеням, на тротуар. Такая усталость. Откуда она? Сколько раз я взбегала по крутому горному склону. Могут ли с этим сравниться несколько пролетов грязной лестницы с шеренгами нищих и цыганят, у которых глазенки сновали быстрее мальков?

Нога за ногу я брела домой и жалела, что больше мне пойти некуда. С трудом преодолела покрытые ковровой дорожкой ступеньки пансионата и, открыв дверь своей комнаты, немного постояла в дверях, не в силах переступить порог.

Здесь хранились главные ценности и атрибуты моей жизни: фотография Диккенса в рамке и увеличенное до размеров плаката объявление о выпуске романа «Большие надежды» отдельным изданием. Тут был мой письменный стол, а на нем — кипа бумаг, которая считалась моей диссертацией. Она терпеливо ждала, когда же я вернусь из Грейвсенда с новыми материалами. Так и мистер Уоттс в свое время ждал над своей секретной тетрадкой, когда же мы припомним новые фрагменты. Увы, новыми материалами

разжиться не удалось. Из этой поездки я привезла глубоко засевшую тяжесть, которая, нагрянув как ненастье, пронизывала меня до костей.

Я не придумала ничего лучше, как лечь в постель. И не вставать.

Шесть дней я выбиралась из кровати только для того, чтобы сделать себе чашку чая, поджарить яичницу или полежать в хлипкой ванне, разглядывая трещины на потолке. Дни, будто мне в наказание, тянулись медленно, часы давили сверху, по комнате растекалась тоска.

Лежа в постели, я слушала, как под окнами тормозят автобусы. Ловила шуршанье шин на мокром асфальте. Представляла, как соседка снизу собирается на работу. Вот у нее включился душ, вот пронзительно засвистел чайник. Я ждала, когда послышатся ее шаги на дорожке под моим окном, а когда этот непродолжительный контакт с внешним миром прекращался, я закрывала глаза и умоляла стены вернуть меня в сон.

Врачи сказали бы, что у меня депрессия. Теперь я стала более начитанной в этом вопросе и понимаю, что так оно и было. Но когда это состояние зажимает тебя в тиски, оно не называет себя по имени. Нет. Происходит следующее: ты сидишь в темной-темной пещере и ждешь. Если повезет,

туда проникнет тонкая полоска света, а если сказочно повезет, то эта полоска будет постепенно расширяться, и в один прекрасный день пещера тебя отпустит, и ты выйдешь на солнце и на свободу. Со мной так и произошло.

Однажды утром я проснулась и сбросила одеяло. На этот раз я встала раньше, чем соседка снизу. Прошла к своему столу. У меня было сильное желание сделать то, что я слишком долго откладывала. Взяв титульный лист диссертации на тему «Образы сирот в творчестве Диккенса», я перевернула его и на обороте написала: «Все называли его Лупоглаз».

С того дня прошло полгода. Все остальное было написано в этот промежуток времени. Я старалась передавать события так, как они происходили со мной и с моей мамой у нас на острове. Не пыталась ничего приукрашивать. Считается, что так писал Диккенс. Читателям полюбились его персонажи. Но во мне, наверное, что-то переменилось. С возрастом я разлюбила его героев. Они слишком очевидны, они гротескны. Но снимите с них маски — и вы увидите, как толковал их создатель человеческую душу, страдания и суетное тщеславие. Когда я сообщила отцу о смерти мамы, он не выдержал и разрыдался. Тогда до

меня дошло, что какие-то эпизоды могут быть приукрашенными. Но только не в литературе, а в жизни.

Я решила уехать из Англии, но перед отъездом собиралась выполнить еще одну задачу. Для этого нужно было наведаться в Рочестер, откуда Диккенс позаимствовал пару достопримечательностей для романа «Большие надежды».

В Рочестере есть одно место, которым любой приезжий заведомо обязан восхититься. Оно похоже на идеальную открытку, изображающую типичную английскую деревню тысяча восемьсот какого-то года. Спотыкаешься о булыжники и захлебываешься от сентиментальности. Куда ни глянь — Диккенс: лавочник, ресторатор, антиквар. А если захочешь перекусить, тебя ждут кафе «Феджин»[13], чайная «Миссис Бамблз»[14] и ресторанчик «В двух городах».

«Я называл себя Пипом, а потом и все меня стали так называть» — это самые подкупающие литературные строки. С этим я к вам пришел:

---

[13] Примечания: 13

Феджин — хитрый и коварный злодей, персонаж романа Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста» (1837–1839).

[14] Примечания: 14

Миссис Бамблз — персонаж романа Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста», жена бидла Бамблза.

примите меня, пожалуйста, таким, как увидели. С этим выпускает в жизнь своих питомцев сиротский дом. С этим прибивается к тихоокеанскому берегу переселенец. С этим обратился мистер Уоттс к мятежникам, и они смирились. А я, например, не смогла смириться с тем, что в честь Пипа назвали овощную лавку: «Пип Рочестерский».

Мне нужно было как-то убить два часа до отправления лондонского поезда, и я решила пристроиться к какой-нибудь обзорной экскурсии. Сотрудница Центра Чарльза Диккенса, расположенного в Истгейт-Хаус[15], провела нашу группу по ратуше, где Пипа по всем правилам определили в подмастерья к Джо Гарджери.

Выйдя из ратуши, мы пошли верх по склону, и тут я поняла, что именно этой дорогой шел Пип, направляясь к дому мисс Хэвишем. Дорога была мне хорошо знакома: одержимой почитательницей мистера Диккенса я не раз проделывала этот путь на другом краю света — у нас на острове.

Нам показали двухэтажный дом под названием

---

[15] Примечания: 15

Истгейт-Хаус — дом в г. Рочестере, построенный для сэра Питера Бака, казначея флота. Послужил прообразом женского пансионата Уэстгейт-Хаус в романе Ч. Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1836–1837).

Сатис-Хаус. Тут мне открылось кое-что новое: мистер Диккенс сохранил название, но особняк сделал более просторным и внушительным, разместил его по соседству с пивоварней и поселил в нем мисс Хэвишем и Эстеллу.

Мы прошли через парк и остановились напротив тех самых ворот, у которых Эстелла впервые встретила Пипа и с тех пор презрительно говорила ему «мальчик». В это время к воротам подкатило такси, из которого выскочил явно преуспевающий молодой человек. Он покосился в нашу сторону. Как мне показалось, с досадой. Из объяснений экскурсовода мы поняли, что дом мисс Хэвишем перестроен под элитное жилье. У нас на глазах молодой человек прошел за ворота и двинулся по дорожке. Опустив к ногам кейс, он вставил ключ в замочную скважину. Дверь распахнулась и тут же захлопнулась. Теперь наши глаза стали блуждать по сторонам. Мы просто стояли на месте, а глаза и мысли блуждали.

— Ну-ну, — процедил кто-то из экскурсантов.

Наконец нас привели в Истгейт-Хаус. Поднявшись вместе со всеми по лестнице, я увидела мисс Хэвишем в белом подвенечном наряде. Она стояла за стеклом, спиной к посетителям. Я бы дорого дала, чтобы она хотя бы на миг обернулась

и увидела такую чернокожую девушку.

Под занавес нам показали кабинет мистера Диккенса. Восковая фигура писателя откинулась на спинку кожаного кресла, свободно расставив ноги и спокойно сложив руки. Сонные веки были полуопущены. Мы застали мистера Диккенса, когда он грезил.

Экскурсант из нашей группы, оказавшийся рядом со мной у веревочного ограждения, услышал мой шепот:

— Я знала мистера Диккенса: это не он.

Мужчина с улыбкой отошел в сторону. Я не стала его убеждать. Но если бы возникло у меня такое желание, я бы сказала вот что.

Тот мистер Диккенс, которого я знала, тоже носил бороду, у него тоже было худощавое лицо, а глаза будто хотели выскочить из орбит. Но мой мистер Диккенс ходил босиком и в рубашке без пуговиц. По особо торжественным случаям — например, когда вел уроки, — он надевал костюм.

Совсем недавно мне пришло в голову, что я никогда не видела у него в руках мачете: его оружием были рассказы. А однажды, в очень тяжелую пору, мистер Диккенс объяснил каждому из нас, своих учеников, что наш голос — особенный и, когда мы им пользуемся, этого нельзя

забывать; а еще нужно помнить: что бы с нами ни случилось, голос у нас не отнять.

Моя ошибка в том, что я ненадолго забыла этот урок.

В благоговейном молчании я улыбнулась еще одному обстоятельству, о котором другие не подозревали. Пип — это моя история, хоть я и родилась девочкой, а лицо мое черно, как сверкающая ночь. Пип — это моя история, и на следующий день мне предстояло сделать то, что не удалось Пипу.

Я возвращалась домой.

Благодарности

Хочу поблагодарить Майкла Хейуорда и Мелани Остелл, сотрудников издательства «Text», за необыкновенную доброжелательность и воодушевление, которые они проявили к роману «Мистер Пип» уже на стадии рукописи: спасибо Мелани за ее тонкое редакторское проникновение в текст и высказанные предложения, а Майклу — за то, что он дал этой книге дорогу в жизнь.

Особая благодарность — моему многолетнему издателю Джеффу Уокеру из «Penguin Books» (Новая Зеландия) и моему литературному агенту Майклу Гифкинсу за их неустанную помощь мне и «Мистеру Пипу».

Созданию этого романа способствовал грант фонда «Creative New Zealand», за который я чрезвычайно признателен.